

Б. НИКОЛЬСКИЙ

ДЕТИ
ДО

ШЕСТИНАДЦАТИ

Б. НИКОЛЬСКИЙ

ДЕТИ
ДО
ШЕСТИ-
НАД-
ЦАТИ

ПОВЕСТЬ



ИЗДАТЕЛЬСТВО
«Детская литература»
Ленинград 1967

Герои этой повести — обыкновенные городские ребята. По вечерам они собираются во дворе, слушают «Спидолу», спорят о футболе и боксе. Иногда все вместе отправляются в кино или на стадион. Короче говоря, на первый взгляд кажется, что жизнь их идет без особенных происшествий. Но ребята взрослеют и все чаще задумываются над жизненными вопросами, все внимательнее присматриваются к жизни взрослых. И отношения их с родителями становятся более сложными, а порой и нелегкими..

Рисунки Л. Селизарова



Scan AAW

ГЛАВА 1

ЕЩЕ БЫ МНЕ НЕ ЗАПОМНИТЬ ЭТУ ФАМИЛИЮ!

По вечерам, как только начинает темнеть, мы все, всей нашей компанией, собираемся во дворе, возле шестой парадной.

Первыми обычно приходят Эрик и Витёк. Эрик приносит «Спидолу», он крутит ручки настройки, стараясь отыскать что-нибудь стоящее, а Витёк молча стоит рядом, сунув руки в карманы, поглядывая по сторонам.

Двор наш огромный, как площадь, асфальтированный, с клумбой и детской площадкой посередине, с приземистым зданием котельной в дальнем углу. Оттуда, из дальнего угла, из семнадцатой парадной, появляется Вадик. Он идет не спеша, словно вышел просто так прогуляться, словно и не замечает ни Эрика, ни Витьку. Он самый старший среди нас, единственный обладатель паспорта, но в то же время самый низкорослый — едва достаёт до плеча Эрику, который уже успел вымахать за метр семьдесят. Поэтому с Вадиком вечно происходят всякие неприятности и недоразумения, когда мы отправляемся в кино. Мы все, конечно, уже ходим на фильмы, которые детям до шестнадцати смотреть не разрешается,



и на вечерние сеансы тоже ходим, ничего, пускают. Только Вадика обычно задерживает билетерша, и Вадик так обижается каждый раз, так злится — я вижу, его все время подмывает сказать: «А этих что же вы пропустили? Лучше у них паспорта спросите!» — он еле сдерживает себя. А тут еще мы начинаем отпускать всякие шуточки: «Куда ты, мальчик, тебе пора спать!», «Иди домой к маме, не мешай взрослым дядям смотреть кино...» и всякое такое... Мы-то знаем, что его все равно пропустят, как только он покажет паспорт. Раз есть паспорт, как могут не пропустить... Я думаю, он когда-нибудь все-таки не выдержит, не вынесет всех наших издевательств и выдаст нас, накапает на нас контролеру. Единственная надежда, что это случится не скоро, может быть, и мы к тому времени обзаведемся паспортами...

Вслед за Вадиком приходит Серега, по прозвищу Бульдог. У него массивные тяжелые челюсти, он коренастый и медлительный. Серега — заядлый шахматист, он вечно таскает с собой карманные шахматы и вечно уговаривает кого-нибудь из нас сыграть с ним. Но мы отказываемся: нам неинтересно, исход-то ясен заранее.

— Эх, слабаки, — говорит он, — ну хотите, ладью фору дам? А? Ну ферзя?

Но и на таких условиях никто не соглашается играть. Подумаешь, выиграть с лишней ладьей — не велика честь, зато, если проиграешь, Серега потом прохода не даст, звона будет, звона! — на это он мастер.

Пробегают мимо Алики с батоном в руках.

— Я сейчас, ребята! — кричит он. — Мигом! Только провизию оттащу!

Тут уже и я присоединяюсь к компании. Окна нашей квартиры выходят во двор, и мне отлично видно и шестую парадную, и ребят возле нее. Я не люблю появляться первым, потому что скучно одному торчать во дворе, и последним приходит тоже не люблю, потому что тогда можно пропустить что-нибудь интересное. Спускаясь вниз по лестнице, я встречаю Алику, бегущего из булочной.

— Ну, как наши? Собрались? — спрашиваю я. Спрашиваю просто так, оттого что мне нравится это слово «наши».

— Ага, — отвечает Алика, — иди, я сейчас!

С Аликом я дружу давно, еще со второго, нет, треть-

его класса. Помню, когда мы перешли в четвертый, отец подарил мне набор химических реактивов и книжку «Занимательная химия», и мы с Аликом целые дни просиживали у нас в ванной — там была оборудована «химическая лаборатория» — и делали разные опыты: выращивали кристаллы медного купороса, получали дым без огня, пытались изготовить порох из бертолетовой соли, а то просто наугад сливали какие-нибудь бесцветные жидкости и вдруг неожиданно, к общему нашему восторгу, получали что-нибудь великолепно оранжевое или ослепительно синее... Однажды Алик прожог соляной кислотой огромную дыру на штанах, и после этого несколько дней его не пускали ко мне — его мать была уверена, что в один прекрасный день мы отравимся или взорвемся...

Вообще родители Алика всегда очень боялись за него, потому что в детстве он умудрился переболеть корью, коклюшем, скарлатиной, гриппом, свинкой, ангиной, желтухой, воспалением среднего уха, не говоря уж о самых обыкновенных простудах. Сам Алик даже слегка гордился этим: он считался в классе чемпионом по болезням. Но тогда опасения его родителей оказались напрасными, все обошлось благополучно: наше увлечение химией кончилось, как только Алику подарили набор бамбуковых реек, тугой резины, папиросной бумаги и прочих деталей, из которых надо было соорудить модель самолета. С тех пор у нас было еще несколько общих увлечений: самодельный кукольный театр, фотография, коллекционирование марок, — но потом наши дороги разошлись, потому что Алик всерьез увлекся физикой — даже какой-то приз получил на районной олимпиаде, а мне было вполне достаточно моей твердой четверки — больше физика меня ни с какой стороны не интересовала...

Приходит еще Лилька из сто четырнадцатой квартиры. Это единственная девчонка в нашей компании. Другие девочки, когда мы собираемся вот так, все вместе, и торчим возле парадной, обходят нас стороной, а Лилька ничего, говорит, с девочками ей скучно, с мальчишками куда интереснее... Лилька — невысокая, стриженная под мальчика, большеглазая. Когда она удивляется или восхищается чем-нибудь, она как-то по-особенному округляет глаза, и они становятся еще боль-

ше. «Таращится», — говорит про нее в таких случаях Вадик. Я пробовал один раз дома перед зеркалом — у меня так не получается. Лилька мне нравится, хотя я, конечно, никому никогда об этом не говорил и говорить не собираюсь. Да и другим ребятам, по-моему, тоже. Я замечаю: когда приходит Лилька, все наши начинают чаще острить, и больше смеются, и разговаривают громче. А Вадику Лилька тоже, наверно, нравится, оттого, я думаю, он и грубит ей все время. Почему для Лильки сделали исключение и приняли ее в нашу сугубо мужскую компанию, я не знаю, это произошло еще до того, как я сам стал появляться по вечерам у шестой парадной...

Конечно, специально никто никого в нашу компанию не принимает и не исключает тоже. Каждый, у кого есть желание, может подойти к нам и стоять вместе с нами и слушать «Спидолу» Эрика сколько угодно, никому это не запрещается. Только бывает так, что какой-нибудь парень буквально из кожи вон лезет, острит и бросает реплики, и дает понять, что он знаком со всеми футбольными знаменитостями и к тому же прекрасно разбирается в транзисторных приемниках и так далее и тому подобное, но все же ничего у него не получается, никто на него не обращает внимания, и все его остроты словно повисают в воздухе, никто даже и не смеется и не отвечает. Мы продолжаем разговаривать между собой, будто его и нет, этого парня. Мол, хоть ты и стоишь сейчас рядом с нами, ты сам по себе, а мы сами по себе. А бывает, человек с первой фразы становится своим. Так было, например, с Аликом. Алик подошел, постоял молча, послушал, а потом сказал неожиданно:

— Ребята, а вы знаете, оказывается, дельфинов можно научить говорить по-человечьи, я сегодня прочел...

И все почему-то захохотали, а Эрик сказал:

— Во дает! Во дает! — и похлопал Алика по плечу.

Не знаю даже, от чего это зависит, может быть, просто от настроения.

Итак — Вадик, Эрик, Витёк, Серега, Алик, Лилька и я — все наши в сборе.

Как-то мой отец сказал: «Интересно бы послушать, о чем вы говорите, когда толчетесь там, у парадной?»

О чем?

Ну, о футболе, конечно, в первую очередь. Кажется, у «Зенита» в этом году есть шансы выйти на пятое место.

— Ну что ты! Если «Нефтяник» выиграет завтра у «Крылышек», у него будет столько же очков, но лучше соотношение мячей...

— Зато на одну игру больше!

— Подумаешь! Вот если минское «Динамо» сделает ничью с киевлянами, а «Кайрат» проиграет «Пахтакору»...

— Ничего, Вася вчера говорил с Грачом, ребяташки настроены законно, должны выиграть, — вступает в разговор Вадик.

Я не знаю, кто такой Грач, и остальные ребята тоже, наверно, не знают. Но никто не возражает, потому что Вадик у нас признанный авторитет в вопросах футбола. Его старший брат — футболист, играл в заводской команде на первенство города. Правда, вот уже года два, как его больше не берут в команду, но он по-прежнему ярый болельщик, не пропускает ни одного матча и, говорят, знаком со многими известными футболистами. Со стадиона он обычно возвращается изрядно подвыпив, и жалуется на свою жизнь, и рассказывает всегда одну и ту же историю: как он обвел двух защитников и забил гол в верхний левый угол, и старается показать на пальцах, как это произошло. По вечерам и по воскресеньям, когда нет футбола, он играет во дворе в домино, если только по телевизору не показывают какой-нибудь интересный фильм...

Вот кино — это тоже постоянная тема наших разговоров. «Законная картина!», «Обхохочешься!», «Бред, каких мало...», «Мура, не стоит ходить...»

О чем еще мы говорим? Ну, о боксе; тут первое слово Витькú, он занимается боксом, ходит в секцию, правда, человек он молчаливый, из него и двух слов не вытянешь, всегда стоит молча, слушает наши разговоры и загадочно улыбается... Ну, еще о мотогонках, иногда о шахматах Серега расскажет что-нибудь, иногда о школьных делах, да мало ли еще о чем, обо всем, что придет в голову, о том и говорим...

А то и молчим просто, если не о чем разговаривать. Тогда Эрик берется за свою «Спидолу», отыскивает подходящую музыку, а сам в такт музыке подпрыгивает

ногами и растягивает рот, и весь извивается, словно вот-вот начнет танцевать твист. «Ай лав ю! Ай лав ю!» — выкрикивает он или что-нибудь в этом роде, недаром он учится в специальной английской школе. А мы дружно хохочем — невозможно не смеяться, когда он откалывает свои номера.

«Взрыв смеха потряс воздух», — так пишут в подобных случаях.

«И чего гогочут! И чего гогочут!» — говорит дворничиха, тетя Катя.

А из окна напротив, со второго этажа, выглядывает пожилая женщина и сердито смотрит на нас. Лицо у нее очень недовольное, но она не делает нам замечания, молчит, наверно, думает: «Свяжись только с ними, а потом одному богу известно, что они могут вытворить. Пульнут камнем в стекло, и иди доказывай, кто разбил...»

Напрасно она так думает. Мы вовсе не собираемся пулять камнями в окна. А если громко хохочем, так просто оттого, что нам весело. Весело и хорошо стоять вот так вместе и чувствовать себя сильными — попробуй-ка тронь только кто-нибудь — и независимыми, и знать, что каждый из нас защитит другого. Как это поется в песне: «Если радость на всех одна, то и беда одна...» и потом еще: «Другу уступит друг — место в шляпке и круг». Мне очень нравится эта песня, я могу ее слушать хоть пять раз подряд.

Так мы стоим обычно и разговариваем или слушаем «Спидолу» часа полтора, два, пока не надоест, а потом, если не отправляемся все вместе в кино, расходимся по домам — кто готовить уроки, кто смотреть телевизор...

Чаще всего к этому времени возвращается с работы из института мой отец.

Я вижу, как останавливается у ворот светло-зеленая «Волга» — это машина директора института, он живет недалеко от нас и обычно заводит отца домой, вижу, как выходит из машины отец, как прощается он с директором, чуть приподнимая шляпу, как идет потом он по двору, прямой и высокий, с большим коричневым портфелем в руке. И я прощаюсь с ребятами: «Пока! До завтра!» — и иду домой вместе с ним.

— Ну, какие новости? Как дела в школе? — спрашивает отец, пока мы поднимаемся по лестнице.

— Порядок! Пятерка и две четверки.

— Лучше бы наоборот, — замечает он. — А? Ты как думаешь?

Конечно, лучше бы, но что поделаешь, если я никак не могу угодить нашей англичанке своим произношением. Впрочем, об этом я не говорю вслух. Мой отец не любит, когда я жалуюсь на учителей. Помню, однажды, это было еще в четвертом классе, я получил тройку за диктант. Это была первая тройка в моей жизни и, главное, несправедливая. Я сделал всего три ошибки, другим за три ошибки учительница ставила четверку. Я пришел домой и, когда стал рассказывать обо всем, что произошло, не выдержал и заплакал. Тогда с нами жила папина двоюродная сестра, моя тетя, она расстроилась не меньше меня, схватила тетрадь и хотела тут же бежать в школу. «Успокойся, — сказал ей отец. — И, пожалуйста, никуда не ходи. Не надо, чтобы мой сын с детства привыкал винить в своих неудачах других людей. Надо винить прежде всего себя. Если бы он написал работу безукоризненно, он бы не получил тройку. А раз в диктовке есть ошибки, стоит ли обвинять кого-то?»

Этот случай я запомнил надолго.

Дома отец первым делом просматривает почту. Сегодня ему принесли две бандероли, письмо из Минского университета и маленькую заграничную открытку с австралийской маркой.

«Dear sir Ovsjannikov!» — написано в открытке сверху. Хотя я и не учусь в специальной школе, как Эрик, и у меня всего лишь четверка по английскому, эту-то строчку я могу перевести.

«Дорогой сэръ Овсянников!»...

«Сэр Овсянников!» — смешно...

Оказывается, какой-то австралийский ученый просит выслать статью о последних опытах моего отца.

Мой отец — биолог. Стоит мне кому-нибудь сказать об этом, как я сразу слышу в ответ: «А-а... Лягушек режет?» Как будто нельзя быть биологом и не резать лягушек! Словно у биологов и нет других занятий! А вон сколько разных направлений теперь в биологии: биохимия, биофизика, микробиология, цитология, да все я и не знаю! Как-то я заходил к отцу в лабораторию, так у них там каких только приборов нет! Один электрон-

ный микроскоп чего стоит! И мой отец, например, хоть и биолог, а хорошо знает высшую математику. Знает физику. Говорит на английском, немецком и французском. В радиоаппаратуре разбирается не хуже инженера. Вот тебе и лягушки! Его, оказывается, даже в Австралии знают. Рассказать ребятам — небось и не поверят...

Отец распечатывает бандероль и тут же, стоя у письменного стола, начинает просматривать журнал. Журнал напечатан на толстой глянцевитой бумаге и почему-то пахнет аптекой.

— Хм, интересно, — говорит отец. — Интересно. — И садится.

Я знаю, что если сейчас он увлечется, потом его будет не оторвать, пока не дочитает до конца.

— Папа, — говорю я. — Чуть не забыл. К тебе тут приходил сегодня какой-то мужчина...

— А? — отывается отец от журнала. — Кто приходил?

— Сказал: передайте, что заходил Осинин...

— Ах, вон оно что... — говорит отец и прищуривается. — Интересно, что ему было нужно?

— Не знаю. Просил передать привет...

— Значит, привет? — повторяет отец, усмехнувшись. Несколько минут он сидит молча. На чистом листе бумаги старательно крупными круглыми буквами выводит: «ОСИНИН». И еще раз — «ОСИНИН». Потом рвет листок и выбрасывает.

— Вот что, — говорит он. — Запомни: этому человеку совершенно не обязательно появляться у нас дома. Я не имею никакого желания его видеть. Понятно? А теперь давай ужинать. Что там у нас запрограммировано на сегодня?

Мы вместе идем на кухню готовить ужин, но я не могу не думать об этом человеке, об Осинине. На вид он человек как человек — невысокого роста, в очках, я даже как следует не разглядел его... Я жду, что отец еще что-нибудь скажет о нем, объяснит, но он больше не возвращается к этому разговору.

Странно...

Вообще отец у меня очень вежливый человек. Когда мы едем в трамвае или метро, он обязательно уступает место женщинам, и женщины при этом нередко сму-

щаются и уговаривают его сидеть и не беспокоиться зря, но я-то знаю, что это напрасно, что он никогда не сядет, что он просто не может сидеть, если рядом стоит женщина. А однажды я видел, как он написал в письме: «Глубокоуважаемый Петр Сергеевич...» Никогда раньше я не слышал, чтобы в наше время один человек другому говорил «глубокоуважаемый». Впрочем, если отца называют «дорогой сэр», пожалуй, нет ничего удивительного и в том, что он сам пишет «глубокоуважаемый»... Возможно, у ученых на этот счет свои законы. А тут вдруг: «Запомни: этому человеку совершенно не обязательно появляться в нашем доме!» Я даже никогда не думал, что отец может так сказать. Интересно!

Осинин, — еще бы мне не запомнить теперь эту фамилию!



глава 2

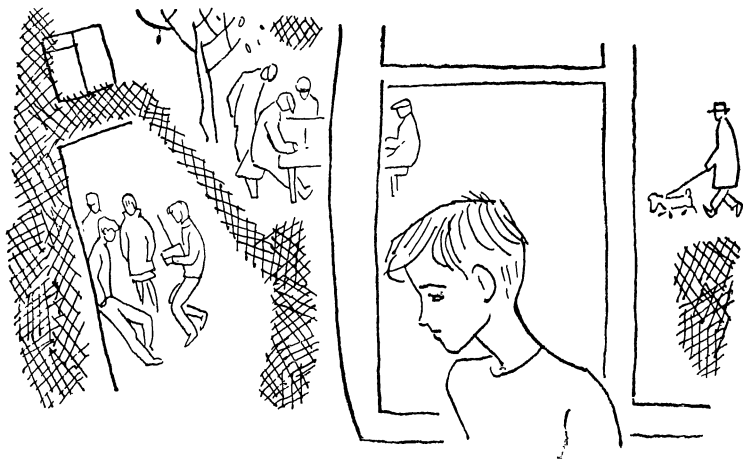
ЛИЛЬКА, ВАДИК
и я

Первый раз я ушел со двора раньше обычного времени, первый раз не дождался здесь, у парадной, отца, первый раз не сказал ребятам: «Пока! До завтра!» и не услышал в ответ привычное: «Пока, старик!» А произошло все из-за Лильки. Вернее, из-за Лильки и Вадима, из-за них обоих.

В этот день к вечеру начал накрапывать дождь, и мы ушли с улицы в парадную. Парадные в нашем доме просторные, точно залы, кое-где даже скульптуры стоят, будто в музее, и лестницы широченные — прямо хоть танцы устраивай.

Мы толпились в углу возле телефона-автомата, и жильцы, проходя мимо, подозрительно косились на нас. Может быть, оттого, что шел дождь, а может быть, оттого, что не было Лильки — она что-то запаздывала, только разговор в этот день не клеился, мы вяло перебрасывались случайными фразами.

И вдруг Лилька появилась — да еще как! — не в обычном своем коротком пальтишке, а в новенькой стеганой куртке из нейлона, поролона, орлона, не знаю



даже, как правильно называется этот материал, и в черных узеньких брюках — совсем взрослая девушка! Пожалуй, я бы даже и не узнал эту новую Лильку, если бы случайно встретил ее где-нибудь на улице. Во всяком случае, я сразу почувствовал себя совсем мальчишкой, ничтожным, невзрачным мальчишкой, обыкновенным школьником. А Лилька держалась так, словно ничего и не случилось, словно она даже и не замечала наших взглядов, нашего восхищения.

— Ой, мальчишки, что это вы такие скучные сегодня? — сказала она, чуть растягивая слова. — Рассказали бы что-нибудь интересное...

— Ой, девочки! — хохотнув, моментально отозвался Вадик. — Сейчас расскажем. Новенький анекдот, свеженький, только вчера услышал.

Поначалу анекдот был совсем безобидным, вполне приличным, но по глазам Вадика, по его улыбочке я уже видел, что под конец он обязательно что-нибудь загнет, и чувствовал, как уже краснеют у меня шея и уши, кажется, даже затылок краснеет. Я боялся повернуться, боялся посмотреть на Лильку. Я еще надеялся, что Вадик все-таки остановится, все-таки не станет рассказывать при ней все до конца. Но он не остановился.

И когда он кончил и ребята захохотали — первыми Эрик и Серега, затем Витёк, а потом неуверенно и смущенно Алик — и я понял весь неприличный, грязный смысл этого анекдота, я ощутил, как краска заливает мне лицо.

«Кажется, в таких случаях полагается бить в морду», — подумал я.

И я представил, как ударяю сейчас Вадика по его улыбающейся довольной физиономии, как потом поворачиваюсь я к Лильке и говорю: «Пойдем отсюда» — и вижу ее глаза, полные слез и благодарности. Все это в одну секунду пронеслось у меня в голове.

Я шагнул к Вадiku.

Не знаю, ударил бы я его или нет — все-таки это очень непросто: вот так подойти и первому, неожиданно, ударить по лицу человека, — но в последний момент я обернулся и увидел Лильку.

Лилька смеялась.

Правда, она чуть отвернулась и прикрылась рукой, и щеки ее порозовели от смущения, но она смеялась!

И тогда я повернулся и пошел прочь.

— Колька, ты куда? — крикнул мне вслед Эрик. Я не ответил.

На другой день, после школы, когда начало темнеть, я не вышел во двор. Честно говоря, мне было как-то не по себе — уж очень я привык каждый день в это время сбегать вниз по лестнице, прыгая через две ступеньки, и кричать Алику: «Ну, как наши? Собрались?»

Вообще есть люди, которые любят одиночество. Например, моя тетя, папина двоюродная сестра, всегда говорит: «Я ужасно люблю одиночество. Если у человека есть внутреннее содержание, ему никогда не будет скучно одному».

Не знаю, может быть, у меня нет этого внутреннего содержания, но я очень не люблю оставаться один. Возможно, это оттого, что мне часто приходится бывать одному — отец целые дни на работе, а я дома, — но когда я один, я буквально не знаю, куда себя девать.

И теперь я сначала без толку слонялся по квартире, потом остановился у окна. Я видел, как постепенно сходятся ребята. Вот и Серега, и Витёк, и Лилька уже пришли, и Алик... Думают ли они обо мне? Обсуждают ли между собой, почему я не пришел? Наверно, обсуждают. Может быть, ругают Вадика — в конце концов, из-за него все получилось.

Я отхожу от окна и снова начинаю бродить по квартире. Даже выхожу на лестничную площадку — посмотреть, не появилось ли что-нибудь в почтовом ящике. Но все равно меня так и тянет назад к окну.

Во дворе уже зажглись фонари, светятся окна лестниц, и над парадными тоже горят лампочки. Около детской площадки за дощатым столом сгрудились доминошники. А «наши» все еще не разошлись по домам, все еще стоят возле шестой парадной. Лилька сегодня в своем обычном пальто, покрасовалась один день в новом наряде — и хватит. Мне видно, как Эрик чуть наклоняется — наверно, колдует над своей «Слидолой», видно, как начинают смеяться ребята. Смеха я, конечно, не слышу, далеко, да и окна закрыты. Интересно, смеются они сегодня так же, как всегда, или, может быть,

все же не так громко, не так весело? Должны же они все-таки заметить, что меня нет!

Я вижу, как идет через двор мой отец, как, по привычке, смотрит в сторону шестого подъезда — знает, где меня искать. Наверно, удивляется, наверно, думает: «Что такое, куда это делся мой сын?» А его сын стоит у окна, один в пустой квартире...

Мне кажется, я даже слышу, как поднимается он по лестнице. Первый этаж, второй, третий...

Я выскакиваю в коридор и бегу открывать дверь. Ура! Вот и кончилось мое одиночное заточение! Накопец-то!

— Ты что это не на своем посту? — спрашивает отец весело. Я давно уже замечаю: ему не очень-то нравится мое вечное торчание у этой парадной.

— Да ну их!

— Временное недоразумение или серьезный конфликт?

Я молча пожимаю плечами. Почему-то мне неловко, стыдно рассказывать о вчерашнем происшествии.

Когда отец дома, у меня сразу и настроение меняется. Даже уроки могу делать спокойно, не отвлекаясь. А когда один, обязательно сто раз встану из-за стола — то во двор выгляну, что там за машина приехала, то радио включу, немного послушаю, то вдруг вспомню, что целую неделю собирался починить выключатель в кухне, и сразу бегу в кухню. Когда отец рядом — совсем другое дело. Он сидит за своим письменным столом, сняв пиджак, в рубашке с засученными рукавами и подсчитывает что-то на логарифмической линейке, выписывает в тетрадку колонки цифр, вычерчивает на миллиметровой бумаге какие-то графики. Иногда он берет счета — такие маленькие счета, мне их подарили на день рождения, когда я учился во втором классе, и начинает щелкать костяшками. Это меня всегда очень смешит — ну настоящий счетовод или кассир. Посмотри на него сейчас кто-нибудь со стороны, разве скажет, что мой отец биолог? Но я-то знаю: он подытоживает результаты своих опытов. А я пристраиваюсь рядом, раскладываю свои тетради, свои учебники, и мы работаем вместе...

Утром, в школе, я все ждал, что Алик спросит, почему не было меня вчера во дворе, почему я не вышел. С Аликом мы учимся в одном классе и даже сидим за

соседними партами, так что частенько играем в морской бой или в слова — это когда из одного длинного слова нужно составить много новых, или в балду. Но Алик нет-нет, да и сжульничает, схитрит, — начинает придумывать какие-нибудь несуществующие дикие слова, что-нибудь вроде «ледовитости» или «яйценоскости», а потом уверяет, что я — балда и что он победил честно.

Я все посматривал на Алика, все ждал, когда же он спросит, и думал, что я ему отвечу. Пожалуй, только пожму плечами: «Так, был занят». Но он, конечно, поймет, что вовсе не «так», и спросит: «Нет, Колька, правда?» И тогда я скажу ему, что мне стало противно слушать, как Вадик рассказывал свой дурацкий анекдот и что напрасно все смеялись, ничего в этом смешного не было...

Но Алик все не спрашивал и не спрашивал. Может быть, он просто забыл, что меня вчера не было, может быть, у него голова другим забита — как-то на-днях он так и сказал про себя: «У меня теперь голова другим забита». Оказывается, он мечтает поступить в какую-то особую школу для математически одаренных детей.

Эрик уже учится в специальной английской школе. Алик собирается переходить, так, чего доброго, скоро я один — единственный неодаренный — останусь в нашей обыкновенной школе. И от этих мыслей и от того, что Алика вовсе не интересовало, почему я не вышел вчера, мне стало вдруг так грустно и одиноко, словно я опять очутился один в пустой квартире. И тут я понял, что, как бы я ни старался, сегодня я уже не выдержу и выйду вечером во двор к нашей компании.

И я вышел.

Я вышел, только немножко попозже, когда все уже были в сборе.

— А-а! Колька! — как ни в чем не бывало крикнул Эрик. — А мы уже думали, что ты заболел...

— Да нет, не заболел, — ответил я, стараясь не смотреть на Лильку.

И больше никто ничего не сказал, словно они не поняли, почему я ушел тогда, или не хотели теперь показывать, что поняли.

«Глупо как-то получилось, — подумал я. — Ужасно глупо».



Если бы не случилось тогда такое совпадение, может быть, и мысли эти, мысли, о которых потом не хотелось вспоминать, никогда бы и не пришли мне в голову. Но совпадение случилось, ничего не поделаешь, «судьба», как говорит в таких случаях моя тетка, двоюродная сестра отца, — «от судьбы никуда не денешься».

Я, конечно, не верю в судьбу, я просто не знаю, что это такое.

Да и началось-то все с пустяка. Я давно уже заметил: многие очень важные вещи начинаются именно с пустяков.

— Знаешь, — сказал мне отец в тот вечер. — К нам на гастроли приезжает МХАТ...

«Неужели он взял билеты на субботу?» — подумал я.

— ...и мне повезло, у меня как раз свободный вечер в эту субботу, я взял билеты на «Трех сестер»... Ты что, недоволен?

У меня дурацкое лицо: как бы я ни старался скрыть свои мысли, по нему всегда все можно прочесть, во всяком случае, отец угадывает мое настроение безошибочно,



— Нет, почему? — как можно веселее сказал я. — Почему ты решил, что я недоволен?

— Да? Значит, мне показалось...

Я видел, что отец все-таки расстроился, он-то был уверен, что я обрадуюсь, я всегда очень любил ходить с ним в театр. А я разве виноват, что так получилось? Я и сам не знал, что теперь делать. Как раз в эту субботу мы все, всей компанией, собирались махнуть за город, на природу — устроить небольшой туристский походик, с ночевкой в лесу, с костром, с палатками — все как полагается. Мы уже давно поговаривали об этом, но все как-то впустую, а тут вдруг собрались, договорились точно. Даже обязанности уже распределили: кто за что отвечает, кому что брать. Когда дошла очередь до меня, Вадик усмехнулся: «Да его папаша не пустит, вот увидите...» — «Это почему не пустит? — рассердился я. — Прекрасно пустит». Правда, однажды отец не пустил меня в кино, когда мы как-то собрались на последний сеанс, он вообще очень не любит, когда я возвращаюсь домой поздно, но это же только один раз, да и верно, совсем не обязательно мне было идти тогда в кино на последний сеанс. Но Вадик до сих пор забыть этого не может. А я-то знаю, что когда мне действительно нужно, отец всегда поймет и возражать никогда не станет. Но я также знал, что пустить-то он меня пустит, но, пожалуй, будет недоволен этой затеей с походом и ночевкой, потому что ему вообще-то не очень нравилась наша компания. Поэтому я и не сказал ему сразу, а все ждал, хотел заговорить о походе как-нибудь мимоходом, к слову как о деле уже решенном. Вот и дождался!

Если бы не МХАТ и не «Три сестры», я бы, конечно, просто-напросто сказал отцу, что идти в театр мне не хочется, что лучше я поеду за город с ребятами. И ничего страшного. Но я хорошо знал, что на этот спектакль он собирался давно и мечтал пойти именно со мной — может быть, какие-то воспоминания были у него связаны с этим спектаклем, он видел его в молодости, может быть, видел вместе с мамой, когда они только познакомились, не знаю, но теперь он хотел обязательно показать его мне, — он не раз говорил об этом. Заикнись я ему о субботнем походе, и он бы, конечно, сказал: «Смотри сам, твое дело, иди», и ничего больше, он бы даже постарался сделать вид, что не расстроен и не

обижен, но для меня это тяжелее всего, я просто не могу вынести этого — это в десять раз хуже, чем если обидят меня самого, в сто раз хуже...

Поэтому я не мог ничего сказать о походе, никак не мог. В конце концов я сам был виноват, что так случилось: надо было предупредить раньше. Видел же я эти афиши — они по всему городу расклеены, как только мне сразу в голову не пришло! А теперь можно было лишь надеяться, что вдруг в субботу у отца появится какое-нибудь срочное дело, внеочередное совещание или что-нибудь в этом роде. И тогда все решится само собой.

Но ничего такого не произошло, и в пятницу вечером, когда мы все собрались во дворе, мне уже не оставалось ничего другого, как только проговорить с самым наименее различимым видом:

— Да, между прочим, завтра у меня с отцом очень важное дело, так что я...

Это было для меня не так-то легко — решиться вырвать зуб куда легче, честное слово, — и я мог гордиться и утешать себя тем, что я это все-таки сделал. Впрочем, это было слабое утешение.

— Вот видите! — сразу закричал Вадик. — Что я говорил! Эх, дурак, надо было мне тогда поспорить!

Больше на меня в тот вечер не обращали внимания, словно я и не существовал, словно меня и не было рядом с ними. Несколько раз я пытался вмешаться в разговор, даже подавал советы, и со стороны это выглядело, наверно, довольно унижительно, потому что никто меня не слушал и никто не отвечал. Конечно, мне нужно было уйти, я это прекрасно понимал, но все-таки не уходил, хотя меня теперь и в самом деле совершенно не касалось, хватит ли одной палатки на всех, и сколько надо закупать хлеба, и на что сейчас лучше всего будет клевать рыба...

В субботу мы с отцом отправились в театр. Мы вызвали по телефону такси и подкатили к самому театру, к ярко освещенному подъезду.

Отец взял билеты в ложу — я знал, что это специально для меня. Я не люблю в театре сидеть в партере: сидишь будто в кино, никакой разницы. Зато когда поднимаешься в ложу бельэтажа или бенуара — одни сло-

ва чего стоят! — и билетерша подводит тебя к узкой дверце, и ты сначала попадаешь в крошечную комнатку, где стоят низенькие мягкие диваны, а потом уже в ложу, тут уж сразу чувствуешь, что ты — в театре.

В другой бы раз мне вполне хватило такси и билетов в ложу, чтобы чувствовать себя на седьмом небе. Но сейчас...

Я смотрел на сцену, я изо всех сил старался смотреть на сцену, но ничего не мог поделать с собой. Я думал о ребятах, о нашей компании, как они едут сейчас в электричке, или идут уже по лесу, или выбирают место для привала. Я все время отвлекался и не мог уловить смысл того, что происходило на сцене. Спектакль мне казался скучным.

В этот вечер я первый раз почувствовал себя несвободным, первый раз я завидовал свободе своих приятелей.

Почему я должен сидеть в театре, когда мне совсем этого не хочется? И разве это честно перед отцом? Ведь он прекрасно чувствует мое настроение, даже в темноте чувствует, хоть и глядит все время на сцену. А что — он же не заставлял меня идти, он бы даже не прикрикнул на меня, не рассердился, если бы я отказался. Если бы он закричал, если бы он рассердился, если бы запретил, не пустил, не разрешил, тогда было бы проще, тогда было бы совсем другое дело. Тогда я мог бы спорить, отстаивать свое право на самостоятельность, доказывать, что я — взрослый. Вон Вадик, тот каждый день спорит со своей матерью. Она ему: «Дурак!», а он ей: «Сама дура», она ему: «И зачем только я тебя растила, зачем силы тратила?», а он ей: «Я же тебя не просил об этом». И ничего — к вечеру уже разговаривают мирно, как ни в чем не бывало. Я даже представить себе не могу, чтобы отец сказал мне грубое слово, обругал меня, я бы не знаю, что тогда сделал.

У Эрика родители вообще не вмешиваются в его дела. Они всегда заняты, у них свои заботы, они всегда что-то ищут, покупают, достают: покрышки для автомашины, абонементы в Филармонию, нитрокраску для дачи, сборник стихов Окуджавы, финский плавленый сыр, — времени у них совершенно не остается. «Наш Эрик ничего плохого сделать не может, в этом я уверена, — говорит его мать, — а в остальном пусть он поступает,

как хочет. В конце концов, он человек уже взрослый, отца перерос».

У Сереги папаша, так тот вообще подлаживается под нас. Он — лысый, суетливый и веселый. Хлопает нас по плечам и называет стариками, хлопцами или братвой, как когда. И анекдот иногда расскажет, и закурить даже предложит — полушутя, полусерьезно. Мы, конечно, отказываемся, а он смеется: «Бросьте, эти штучки мне известны, я сам в тринадцать лет начал дымить». Отец Сереги — художник. Одна его картина даже была на городской выставке. Мы все ходили ее смотреть, потому что Серегину отцу для этой картины позировал Эрик. Картина называлась «Заседание комитета комсомола». Нам-то, конечно, было интересно посмотреть, потому что Эрик получился как живой, очень похож, но вообще-то картина вышла скучная. Конечно, из вежливости мы не сказали об этом Серегину отцу, но он, кажется, и сам догадался. «Ничего, старики, — сказал он нам, — у Репина «Заседание Государственного Совета» тоже не самая удачная картина, не так ли?» Серега отцом доволен: «У меня батя свой в доску».

И я сам не заметил, как начал сравнивать своего отца с родителями приятелей. Раньше мне и в голову не приходило, что его можно с кем-то сравнивать. А когда заметил, мне стало очень неприятно — ведь отец сидел рядом и даже не подозревал, о чем я думаю. Я принялся усиленно смотреть на сцену, чтобы отогнать эти мысли, но тут как раз опустился занавес, в зале начали медленно наливать светом люстры — первое действие кончилось.

Во время антракта мы ходили с отцом по фойе, ели мороженое, рассматривали фотографии артистов и макеты декораций, и я немного отвлекся, но как только погас свет и началось второе действие, все мои мысли снова вернулись ко мне.

Я стал думать, что теперь-то наверняка ребята больше никуда не возьмут меня с собой, и настроение у меня опять испортилось. И опять Вадик будет насмехаться надо мной и рассказывать всем, что меня не пустил папаша. Не могу же я объяснить ребятам, что должен был пойти в театр, что просто не мог поступить иначе, — они все равно ничего не поймут. Да я и сам, даже если бы и захотел, не сумел бы толком объяснить

все, как есть... Сколько раз я им говорил, что отец мне ничего не запрещает, что даже таких слов: «нельзя, не пушу» — он почти никогда не произносит, они все равно не верят. «А чего ж ты тогда вечно торопишься домой, на минуту опоздать боишься?» — спрашивают. И опять — как им объяснить? Просто я знаю, что отец не любит, когда я прихожу поздно, и поэтому я стараюсь прийти пораньше. Он у меня человек очень точный, даже в мелочах, любое самое маленькое обещание всегда выполнит и от других тоже ждет верности слову. И я знаю: отец будет переживать и волноваться, если я пообещаю прийти в девять, а сам явлюсь в одиннадцать, а я не хочу, чтобы он переживал, волновался и расстраивался. Для меня это хуже всего. Просто я люблю его, ведь он у меня один, и я у него один тоже — как же я могу сказать или сделать что-нибудь такое, что бы огорчило его. И вот поэтому я сижу сейчас здесь, в театре, в темной маленькой ложе, рядом с отцом, а не разжигаю в лесу костер вместе с ребятами...

И тут я вдруг подумал, что, выходит, это любовь делает человека несвободным, выходит, ничто так не связывает человека, как любовь.

Эта мысль была такой неожиданной, что даже испугала меня. Но потом я вспомнил, что где-то уже встречал ее, в какой-то книге, только не обратил тогда на нее внимания, а теперь она возникла вдруг в памяти, словно я сам до нее додумался.

«Ведь если бы я не любил отца, я мог бы поступать как угодно, и мне было бы совершенно все равно, как он отнесется к этому...»

От такой мысли мне стало совсем не по себе — получалось, будто я хочу, чтобы что-то изменилось в наших отношениях с отцом, чтобы я стал меньше его любить, но я же этого не хотел, я этого никогда не хотел, ни раньше, ни теперь, никогда не хотел, не хотел...

— Ты что это шепчешь? — тихо спросил меня отец.

— Да нет, ничего, — смущенно пробормотал я. Оказывается, я уже начал думать вслух.

«Я очень люблю твоего отца, — как-то сказала мне папина двоюродная сестра, — он, безусловно, прекрасный, замечательный человек, но жить вместе с ним я бы не смогла. У него ужасно трудный характер. Своей верностью принципам, и своим молчанием, и своей требо-

зательностью он может доконать кого угодно». Она сказала это полусуто, и я тогда пропустил эти слова мимо ушей, но теперь, как нарочно, они тоже вспомнились и лезли в голову.

«Голова пухнет от мыслей», — так говорят в подобных случаях. Я и правда чувствовал, как моя голова словно распухает, словно становится тяжелее.

Неизвестно, до чего бы еще я додумался, но, к счастью, кончилось и второе действие.

— Ну как? — спросил отец, подозрительно поглядывая на меня. — Нравится?

— Да, — ответил я не очень уверенно.

Мы отправились в буфет и уже допивали свой лимонад, когда я вдруг увидел Осинина. За нашим столиком было одно свободное место, и он пробирался именно сюда. Отец сидел спиной, он еще не видел Осинина, и я хотел сказать: «Вон тот самый тип», но не успел — Осинин уже стоял возле столика.

— Разрешите? — сказал он. — Здравствуйте, Алексей, — и, чуть поколебавшись, добавил: — Николаевич.

— Здравствуйте, — сухо ответил отец.

Теперь я мог как следует разглядеть Осинина. У него было гладкое, округлое, тщательно выбритое лицо — «холодное лицо», как пишут обычно в книгах. Очки в толстой роговой оправе придавали ему серьезное, значительное выражение.

Осинин взял с вазы бутерброд с копченой колбасой, но не откусил сразу, а держал в руке.

— Ваш сын, наверно, уже сказал вам, что я заходил. Как говорится, визит вежливости, я ведь теперь стал вашим соседом. Да, да, построился, в кооперативном доме. Вот и решил по старой памяти заглянуть к вам, потолковать...

— Сергей Геннадьевич, — сказал отец, — вы же прекрасно знаете мое к вам отношение. Если я еще раз повторю все то, что уже говорил однажды, думаю, это не доставит удовольствия ни мне, ни вам...

— Люди меняются, — сказал Осинин. — Время идет, и люди меняются.

Отец промолчал. Он искал глазами официантку.

— А ваш сын, — сказал Осинин, — между прочим, гораздо любезнее своего отца.

И он улыбнулся мне.

— До свидания, — сказал отец.

— До свидания, — сказал Осинин.

Какой-то неудачный получился у нас этот поход в театр! И так отец был не в настроении: чувствовал, что со мной что-то неладно, а тут еще этот Осинин...

Но зато я теперь отвлекся от своих прежних мыслей и стал думать об Осинине. Интересно, за что отец так не любит этого человека?

Когда мы возвращались домой, я спросил:

— Пап, а почему ты не хочешь разговаривать с этим... Осининым?

Отец посмотрел на меня и потом сказал:

— Потому что в свое время он поступил так, как не поступают порядочные люди. Понимаешь, он предал человека, которому был всем обязан...

— Тебя? — быстро спросил я.

— Нет, почему же меня? — усмехнулся отец.

— А кого?

— Это длинная и не очень интересная история, когда-нибудь я тебе расскажу ее...

Мне совсем не хотелось ждать этого «когда-нибудь», мне хотелось все узнать сейчас же, но отец думал о чем-то своем и больше ничего не добавил.

Когда мы подошли к дому, я, конечно, снова вспомнил о ребятах — сидят они у костра, гоняют чай, поют песни... И в этот момент я вдруг столкнулся с Аликом. Я даже не поверил сначала своим глазам: Алик не сидел у костра и не гонял чай, а бежал по двору, наверно, торопился в магазин, пока не закрыли.

— Алик! — крикнул я. — Тебя что, не пустили?

— А-а... — он приостановился на минуту и махнул рукой, — с нашими разве кашу сваришь? У Сереги, видишь ли, тетка приехала в гости, у Лильки зуб заболел. Вот все и рухнуло... Ну, пока! — и он побежал дальше, размахивая авоськой.

А я сразу повеселел.

Выходит, все мои переживания были напрасными. Ну и прекрасно! Я был уверен, что мысли, которые не давали мне покоя в театре и которых я теперь стыдился, завтра же забудутся, и все опять будет по-прежнему.

Но я ошибся. Так уж, видно, была устроена моя голова, что чем больше я старался не думать о чем-нибудь, тем больше думал...



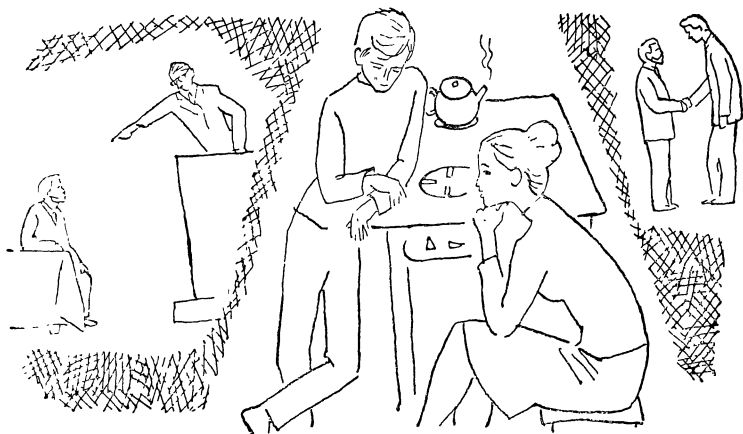
Легко сказать: «Подожди, я когда-нибудь расскажу тебе обо всем...» А если я себе места не находил, так мне хотелось узнать, кто такой этот Осинин и что же он все-таки сделал?

В моем воображении рисовались картины одна ужаснее другой: то мне представлялось, будто он предал кого-нибудь из наших во время войны, и об этом теперь не знает никто, кроме моего отца, а у отца нет никаких доказательств, то я сочинял длинную историю с том, как Осинина послали в разведку, а он испугался, не дошел до цели, а потом доставил командиру, наверное, выдуманное донесение. Почему-то я был уверен, что история эта наверняка произошла во время войны.

Я несколько раз приставал к отцу, все просил рассказать, но он отшучивался:

— Усмирить собственное любопытство труднее, чем укротить льва, — так, кажется, говорили японцы в древности?

Ничего подобного древние японцы не говорили — я это знал точно, — просто отец любил придумывать по-



словицы, когда хотел отшутиться. Иногда такую придумает, что и не отличишь от настоящей!

Я тоже хотел ему в ответ придумать какую-нибудь поговорку, — мол, нечестно так мучить человека, раз уж заикнулся, так договаривай, — но выходило как-то нескладно, сразу видно — собственного изобретения...

Впрочем, мучаться, изнывать от любопытства мне пришлось недолго.

Что-то на третий или четвертый день после нашего культпохода в театр к нам пришли гости, папины сослуживцы: Галина Аркадьевна — она работает младшим научным сотрудником — и лаборант Миша Мельников. Миша высокий и ужасно худой. Он похож на школьника-десятиклассника, хотя уже успел кончить университет. Галина Аркадьевна зовет его Мишенькой, и его, по-моему, это всегда сердит, ему, наверно, хочется, чтобы его называли по имени-отчеству. Я его понимаю, мне бы, конечно, тоже хотелось.

Вообще и Галина Аркадьевна и Миша — это не настоящие гости, потому что даже здесь, у нас дома, они все время говорят о своих лабораторных делах, о каких-то опытах, схемах и приборах. Я ничего не понимаю в этих разговорах и потому ухожу на кухню и кипячу чай или варю черный кофе так, как меня учил отец. Иногда помочь мне прибегает Галина Аркадьевна. Она называет меня «друг мой Колька» и расспрашивает о школе, об учителях, расспрашивает, какие танцы мы танцуем у себя на вечерах и какие песни сейчас в моде, а потом, когда мы возвращаемся из кухни, вздыхает и говорит отцу:

— Подумать только, даже не верится, что я тоже была такой же. Как быстро летит время! — но говорит она об этом с удовольствием, по-моему, ей очень нравится, что время летит так быстро.

— Алексей Николаевич, — спрашивает она, — вы хотели бы вернуться в детство?

— Хотим мы этого или не хотим, — смеется отец, — а впасть в детство нам еще предстоит в старости. — Когда приходит Галина Аркадьевна, он и шутит и смеется чаще, чем обычно.

— Нет, вы знаете, у нас все было как-то по-другому, — говорит Галина Аркадьевна, — я помню, когда пошла в восьмой класс в сорок шестом году, у меня

даже пальто не было, я целый год в ватнике ходила, и ничего, не стеснялась... А теперь моя племянница целый скандал устроила, что ей какие-то там особые чулки не купили, у всех девочек есть, а у нее нету...

Не знаю, может быть, в восьмом классе Галина Аркадьевна и правда ходила в ватнике, но теперь чуть ли не каждый раз она появляется у нас в новом платье, и платья у нее, по-моему, одно красивее другого. И сама Галина Аркадьевна кажется мне очень красивой — если бы я не знал ее и встретил на улице, я бы никогда не подумал, что она — научный сотрудник, кандидат биологических наук и делает опыты на лягушках, крабах и крысах — я бы, наверно, принял ее за артистку.

— Друг мой Колька, ты тоже небось модничаешь? — спрашивает она и смеется. — И за девочками уже ухаживаешь? А? Или еще нет? Ага — покраснел! Ну, значит, да...

За вечер она умудряется задать мне кучу вопросов. Я даже не успеваю на них отвечать. А когда уходит, в комнате, в коридоре еще долго плавает легкий запах духов, и мы с отцом почему-то и разговариваем и ведем себя так, словно в квартире есть еще кто-то третий...

И мне кажется, что когда-то, очень давно, это уже было — и легкий запах духов, и женские шаги в коридоре, мне даже кажется, что я отчетливо помню смеющееся лицо молодой женщины — моей матери. Но это неправда. Когда умерла моя мама, мне только-только исполнилось полтора года, все говорят, что я не могу ее помнить...

В этот раз я не дал Галине Аркадьевне накинуться на меня с вопросами. Как только мы остались в кухне вдвоем, я спросил первым:

— Галина Аркадьевна, а кто такой Осинин?

— Осинин? Сергей Геннадьевич? Кандидат биологических наук и порядочная свинья. Достаточно?

— Нет, а почему мой отец его так не любит?

— Странно было бы, если бы он его любил, — усмехнулась Галина Аркадьевна. — Это довольно давняя и длинная история...

Я уже испугался, что сейчас она добавит: «И я расскажу тебе как-нибудь в другой раз», но Галина Аркадьевна села поудобнее на кухонную табуретку и продолжала:

— В твоём возрасте полезно знать, что люди, нас окружающие, бывают не только благородными героями. Так что навести уши и слушай. Я в те времена была студенткой, кончала первый курс, а отец твой и Осинин были аспирантами, оба были учениками профессора Колесова, продолжателями его дела, его сменой и так далее и тому подобное, как это принято говорить в подобных случаях. По-моему, тогда же появилась их первая совместная работа, статья в солидном научном журнале, подписанная тремя фамилиями: Колесов, Осинин и Овсянников. И Осинин и твой отец очень гордились тем, что их фамилии стояли рядом с фамилией Колесова. Как-никак, а профессор Колесов — это имя звучало! Доктор биологических наук, лауреат, заведующий кафедрой, короче говоря, ученый с мировым именем. К тому же он был разносторонним человеком: мастер спорта по теннису, любитель музыки — ни один хороший концерт в Филармонии без него не обходился, знаток живописи. Студенты любили его, на его лекциях всегда было полно народу. Так что Осинину и твоему отцу многие завидовали — работать с таким ученым! В те годы Колесов как раз выдвинул новую, очень смелую теорию. Как бы тебе рассказать попонятнее?.. В общем, она по-новому объясняла важные процессы, происходящие в живой клетке. Впрочем, не важных процессов в клетке и не бывает. Это заметь себе так, на всякий случай, если вдруг надумаешь стать биологом...

Эх, друг мой Колька, я тогда была девчонка, студентка-первокурсница... Что я понимала?.. И когда я встречала профессора Колесова в университетском коридоре — высокого, грузного, бритоголового, когда я робко здоровалась с ним, я думала: вот человек, окруженный всеобщей любовью и уважением, вот человек, жизни которого можно позавидовать. Мне казался он особенным, совсем не таким, как все, и тот мир, в котором он жил, мне тоже казался особенным, удивительным... И я не подозревала, что именно тогда, именно в то время для Колесова уже наступали самые трудные дни в его жизни...

Почему?.. Как бы тебе объяснить попроще?.. Видишь ли, в науке всегда идет борьба, всегда сталкиваются разные взгляды, разные мнения, так и должно быть, в этом нет ничего страшного... Но представь себе:

если вдруг находится группа ученых, которые считают, что правы только они, что только их направление единственно верное, безошибочное, плодотворное и так далее и тому подобное, то, само собой разумеется, что все остальное, всякое другое направление будет объявлено вредным, бесполезным, ненужным, ошибочным и так далее и тому подобное... И к чему таким ученым проводить научные дискуссии, споры — ведь в спорах может выясниться, что и их работы не так уж безошибочны, — куда проще запретить, отбросить, уничтожить все, что не отвечает их взглядам. Знаешь, как в той сказке, где у короля была безобразная дочь... И чтобы никто не замечал ее безобразия, король велел изгнать из своего государства всех девушек. Поневоле его дочь стала самой красивой. — Галина Аркадьевна усмехнулась. — Примерно так вот получилось в те годы и в биологии...

— А как же... — начал было я, но Галина Аркадьевна перебила меня:

— Ты хочешь спросить, как же все-таки могло получиться такое? Тебе не очень понятно? И знаешь, друг мой Колька, это очень хорошо, что непонятно! Потому что теперь уже другое время, и теперь такого уже не может быть. Честное слово, это очень хорошо! Но мы с тобой, кажется, немного отвлеклись. Слушай дальше. Так вот, для профессора Колесова наступили трудные дни. Его обвиняли в ошибках, которые он когда-то совершил, и в ошибках, которых он никогда не совершал. Всегда находятся неудачники, завистники, бездари, которые в своих неудачах и бедах винят других. Такие типы готовы воспользоваться любым случаем, чтобы только свести счеты. В чем только они не обвиняли профессора Колесова: и в идеализме, и в низкопоклонстве перед буржуазной наукой, и еще бог знает в чем! От профессора требовали, чтобы он признал ошибочность своих взглядов, чтобы он публично рассказал о своих заблуждениях, чтобы он покаялся. Он отказался. И тогда на факультете устроили общее собрание преподавателей и аспирантов. Нас, студентов, на него, конечно, не пригласили, но уже на другой день с утра мы знали, что произошло невероятное: аспирант Осинин, ученик профессора Колесова, последователь профессора Колесова, выступил против своего учителя. Весь факультет только и говорил об этом. Мы не верили своим ушам, мы не хотели верить, но факт

оставался фактом: аспирант Осинин выступил против профессора Колесова. Это был последний и, пожалуй, самый тяжелый удар, нанесенный Колесову. Я, помню, грешным делом, в первый момент даже подумала: может быть, действительно профессор неправ, может быть, действительно правы те, кто его обвиняет, если даже его ученик выступил против... Ну, в чем я тогда разбиралась!.. Только позднее я поняла, что перед Осининым стоял выбор: либо уйги из аспирантуры, распрощаться с мечтой о диссертации, либо выступить против Колесова. И он выбрал... Конечно, он наверняка нашел всякие высокие мотивы, чтобы оправдать свой поступок, возможно, он даже убедил себя, что это было необходимо, но суть дела от этого не меняется... В жизни каждого человека, по-моему, обязательно бывает такой поворотный пункт, такой момент, когда приходится выбирать...

— А отец? — спросил я хрипнувшим, почти беззвучным голосом. — А мой отец?

— Что мог тогда сделать твой отец? Он пытался выступить в защиту Колесова, ему не дали слова... На другой день он принес заявление с просьбой отчислить его из аспирантуры. Его и не собирались удерживать. Месяца три он мотался без дела, устраиваясь на работу, наконец ему удалось поступить лаборантом в научно-исследовательский институт. Ему тогда тоже пришлось нелегко. Да разве он сам никогда не рассказывал тебе об этом?

Я покачал головой. Нет, мой отец никогда не рассказывал мне об этом. Наверно, он просто не любил вспоминать то время.

— Года через четыре твой отец защитил диссертацию. Осинину это удалось сделать, разумеется, гораздо быстрее. Защитив диссертацию, он стал видным факультетским деятелем — так мы обычно называем подобных людей. Вот, кажется, и все дела давно минувших дней...

— А профессор? — спросил я. — Что стало с профессором?

— Профессору Колесову тогда сразу же, конечно, пришлось уйти из университета. Он уехал в Среднюю Азию и преподавал в небольшом медицинском институте. Там он и умер. Незадолго перед смертью его приглашали снова заведовать кафедрой, и он собирался вер-

нуться, но не успел... Теперь скоро выйдет книга воспоминаний о нем, твой отец тоже пишет статью...

— А Осинин?

— Что Осинин? Извиняюсь за выражение — дерьмо всегда отлично держится на поверхности, — Галина Аркадьевна любит неожиданно сказать что-нибудь вот такое резкое, грубое. Раньше я очень смущался, даже пугался в таких случаях, а теперь ничего, привык. -- Такие люди, как Осинин, не теряются ни при каких обстоятельствах. Сейчас он работает в одном из институтов, жизнью доволен наверно, подумывает, как бы снова объявить себя учеником профессора Колесова. Теперь это выгодно...

Все-таки мне было непонятно: человек совершил подлость, и все знают об этом, а человек тем не менее живет себе припеваючи, и получает зарплату, и ходит по театрам, и здороваются со всеми, и все здороваются с ним — как это может быть такое? Почему его не разоблачат до конца? Мне хотелось спросить об этом у Галины Аркадьевны, но она вдруг спохватилась:

— Ой, друг мой Колька, да у нас весь чайник за разговорами выкипел! И наши мужчины, наверно, нас совсем потеряли!

Но когда мы вернулись в комнату, отец и Миша набрасывали в блокноте какую-то схему и были так увлечены, что, кажется, даже и не заметили нашего отсутствия.

— Алексей Николаевич, — сказала Галина Аркадьевна, — я сейчас рассказывала вашему сыну об этой истории с Осининым и опять подумала: как незаметно идет время! Мы ведь уже стареем. Даже не верится, что я первый раз увидела вас, когда была студенткой... Помните, вы пришли к нам проводить политинформацию? Помните?

— Помню. Еще бы не помнить такое знаменательное событие!

— Вы всегда шутите, — сказала Галина Аркадьевна и нахмурилась. — Почему вы всегда шутите?



В воскресенье мы все, всей нашей компанией, отправились на стадион. Это был последний матч в нашем городе, а потом — прости-прощай футбол, до свидания, до следующей весны...

Мы поехали пораньше, мы всегда любили приходить на стадион заранее, чтобы купить билеты подешевле и получше, чтобы потолкаться среди болельщиков и потом занять свои места еще задолго до того, как команды выйдут на разминку.

В трамвае было не много народу, но мы не стали входить в вагон, а оккупировали заднюю площадку.

Трамвай кружит, пробирается по узким булыжным переулкам, едем мы довольно долго и успеваем по несколько раз обсудить все футбольные проблемы. На одной из остановок в вагоне появляется контролер — пожилая женщина в потертом пальто и сером шерстяном платке.

— Молодые люди, ваши билеты!

Билеты у нас, конечно, есть, но мы нарочно долго роемся в карманах, делаем испуганные лица, растерянно поглядываем друг на друга и острим:



— Ой, у меня, кажется, дыра в кармане, билет провалился!

— Арестуйте вот этого длинного, он всегда без билета ездит!

Контролер стоит перед нами и терпеливо ждет.

Наконец, даже пассажиры в вагоне не выдерживают и начинают возмущаться:

— Человек на работе, а они хахалются!

— Молодежь нынче пошла!

— И еще девочка, главное, с ними!

— Да теперь девочки еще почище!

Мне уже немного не по себе от подобного развлечения. Будь билеты у меня, я бы давно их показал. Но билеты у Вадика. А он продолжает рыться в карманах, извлекает оттуда расческу, пуговицу, несколько медных монет, использованный билет в кино, мятый носовой платок, перочинный нож... Причем каждый раз он пожимает плечами и удивленно закатывает глаза — как клоун в цирке. Глядя на него, ребята так и покатываются с хохота.

Конечно, в одиночку каждый из нас наверняка бы не стал затевать подобных представлений — просто побоялся бы, да и к чему... Вместе — дело другое. Мы все словно подогреваем, словно подстегиваем друг друга.

И вдруг я вздрагиваю и чувствую, как все внутри у меня холодеет. С передней площадки на меня смотрит отец.

Я отодвигаюсь, я стараюсь спрятаться за Эрика, и тут же понимаю, что ошибся. Это вовсе не отец. Просто незнакомый мужчина в черном пальто и шляпе, даже ни капли не похожий на моего отца. Да и с чего бы отцу оказаться сейчас здесь, в трамвае. Вот уж поистине — у страха глаза велики... Я-то хорошо представляю, что бы сказал мне отец, если бы увидел эту сцену!

Наконец Вадик все же извлекает билеты и говорит, по-прежнему кривляясь:

— Вы уж извините, мамаша... Бывает... Склероз...

— Если бы я была твоей мамашей, — мрачно отвечает контролер, — я бы тебя выпорола. Понятно, сынок?

Пассажиры смеются. Вадик на минуту замолкает, а потом кричит, уже вслед контролеру:

— Вы не имеете права грубить! Дайте жалобную книгу!..

Вот и кольцо.

Мы выбираемся из трамвая и идем по Приморскому парку Победы.

Стоит ясный осенний день, в воздухе пахнет холодом и прелыми листьями. Хороший у нас все-таки стадион, лучше, наверно, не найдешь ни в одном городе! Когда мы поднимаемся и взгляду открывается Финский залив и свежий ветер ударяет в лицо, у меня сразу исправляется настроение. Отсюда, сверху, очень интересно наблюдать за яхтами и на парк Победы смотреть тоже очень интересно. Видно, как по тропинкам, по аллеям стекаются маленькие фигурки на главный проспект, ведущий к стадиону — людей много, точь-в-точь как на демонстрации. Сначала они идут не спеша, потом, чем меньше остается времени до начала матча, все быстрее, быстрее, совсем как в кино, в старых немых фильмах — на перроне перед отходом поезда, и, наконец, уже почти бегут, словно ими командует, их подгоняет кто-то невидимый.

«Около сорока тысяч зрителей стали вчера свидетелями на редкость бесцветной игры. Случайные, сумбурные атаки нападающих обеих команд не принесли результата, и к концу матча счет не был открыт. 0:0». — так написали на другой день газеты об этом матче.

Обычно я очень люблю читать газетные отчеты о футбольных встречах, которые видел сам, читать и сравнивать, и выискивать неточности. Но в этот раз и сравнивать было нечего. «На редкость бесцветная игра», — точнее не скажешь. Ну хоть бы 2:2 или 1:1 — мне очень нравится смотреть, как забивают мячи, а тут 0:0, ни одного гола не смогли забить, мазины!

Поэтому обратно мы возвращались совсем не так весело, как шли на стадион.

У выхода, возле касс, мы вдруг натолкнулись на брата Вадика. Кажется, он был уже навеселе.

— Аа! — закричал он, — И вы здесь! Вася, знакомься, это, так сказать, наша смена.

Рядом с ним стоял мужчина в синем плаще. Он улыбнулся и посмотрел на нас. Что-то очень знакомое было в его лице. Широкий, слегка приплюснутый нос, белозубая улыбка...

Вадик незаметно кивнул в его сторону и как-то особо значительно подмигнул нам.

Ну конечно, как же я не узнал сразу! Это был Тимофеев, Василий Тимофеев, очень известный еще год-два тому назад футболист, один из лучших защитников. Сколько раз я видел его фотографии! «Тима» — так звали его болельщики. Когда он выходил наперерез вырвавшемуся вперед нападающему, весь стадион кричал: «Ти-ма, да-вай! Да-вай, Ти-ма!»

Конечно же, это был он. Брат Вадика суетился возле него и торопливо сыпал словами:

— Разве ж это игра? Вот раньше, бывало, правда, Вася? Я помню, раз вышел на самые ворота, понял? А на меня сразу два защитника, понял? А я между ними и мяч через себя перекинул — что тут было!

Мы все сбились вокруг Тимофеева и так и шли по аллее толпой — всем хотелось идти рядом со знаменитым футболистом.

— Эх, ребята, не устроилась у меня жизнь, — говорил брат Вадика, — не повезло мне. Вот Вася не даст соврать, я ведь тоже мог в команде мастеров играть, по заграницам мог ездить! Ведь какой у меня удар левой был! Правда, Вася?

— Правда, правда, — рассеянно сказал Тимофеев.

— А вот не повезло. Это уж точно говорят — кому какая удача в жизни выпадет...

Обычно каждый раз, когда брат Вадика, подвыпив, заводил свои жалобы, я думал: для чего он живет, для чего живут такие люди?

Вообще последнее время меня часто одолевали подобные вопросы: для чего живет тот или другой человек, для чего живу я? В чем смысл? Вот если спросить его, что он ответит? Ну, ученые, писатели великие, врачи, это понятно зачем. А такие, как брат Вадика? Днем он ходит на работу, которую не любит, вечером играет в домино или пьет водку и вечно жалуется на свою жизнь. А какая у него цель в жизни, какой смысл? Кто может сказать?

Иногда мне даже становится страшно — у меня пока еще тоже нет в жизни никакой определенной цели, никакого сильного увлечения, а вдруг и не будет? Неужели и у меня может сложиться жизнь так же бессмысленно и я тоже потом буду жаловаться и уверять всех, что мне просто не повезло?

Но в этот вечер, после футбола, я вовсе и не думал

ни о чем таком. Я первый раз в жизни шел рядом с футболистом, которого знают десятки, сотни — да что там сотни! — тысячи людей! Болельщики, обгоняя нас, оборачивались, смотрели на Тимофеева и многозначительно переговаривались между собой. А один мужчина в очках даже наклонился ко мне и спросил шепотом:

— Простите, это правда тот самый Тимофеев?

И я небрежно ответил:

— Да, тот самый.

Я даже не представлял никогда раньше, что это так приятно: идти рядом со знаменитостью и делать вид, что для тебя это привычно, ничего особенного, и ловить на себе любопытные и завистливые взгляды...

Ребята осмелели и наперебой задавали Тимофееву разные вопросы: и кто, по его мнению, войдет в сборную, и правильно ли сегодня судья определил офсайд, и какая команда вылетит из класса «А», — и он отвечал нам, он разговаривал с нами, как равный с равными, видно было, что он привык быть в центре внимания и давно уже научился держаться просто и естественно.

Больше всего я боялся, что вдруг сейчас он скажет: «Ну, пока, ребята, я пошел» — и свернет, исчезнет в толпе, и тогда сразу станет ясно, что никакие мы не знакомые, а только случайные попутчики, шли вместе, пока было по дороге, а как дороги разминулись, так и все — до свидания! Но, видно, он никуда не торопился: уже осталось позади и трамвайное кольцо с толпой болельщиков, осаждавших вагоны, и троллейбусная остановка с бесконечной, извивающейся очередью, а он все шел вместе с нами.

Я думал, как удивятся завтра все в классе, когда я расскажу, что познакомился с самим Тимофеевым. Ведь не поверят, гады! Ни мне, ни Алику не поверят, скажут: разыгрываем, сговорились...

— Сейчас бы кружечку пива, в горле пересохло, — сказал брат Вадика и просительно посмотрел на Тимофеева — видно, у него у самого уже не было денег.

— Хорошо бы! — засмеялся Тимофеев и развел руками. — Да вот я тоже на мели... Без копейки...

Я почувствовал, как у меня от волнения заколотилось сердце.

— У меня есть деньги! — радостно выкрикнул я. — У меня есть... Пожалуйста, — повторил я, со стра-

хом ожидая, что сейчас они откажутся, решат, что неудобно пить пиво на деньги мальчишки, школьника. Но Тимофеев переглянулся с братом Вадика, потом посмотрел на меня, улыбнулся широко и белозубо, по-timoфеевски, в точности, как на фотографии, которая висела в витрине фотоателье на Невском.

— Значит, угощаешь? Ну что ж, как говорится, рука дающего не оскудеет. Пошли, ребята!

И мы всей гурьбой двинулись к пивному ларьку.

Неожиданно мне пришла в голову нелепая мысль: а вдруг я потерял деньги? Я торопливо сунул руку в карман — нет, все в порядке, вот они, на месте, два рубля и мелочь. Как удачно получилось, что сегодня дома не оказалось денег мельче и мне пришлось взять на билет трешку. Вообще деньги у нас хранятся в ящике письменного стола, и я беру, когда нужно, когда иду в магазин или в булочную, а потом кладу сдачу назад в ящик, и отец никогда не проверяет меня, у нас все строится на полном доверии. И если мне нужны деньги на кино или еще на что-нибудь, я тоже беру сам, только, конечно, говорю отцу, сколько и зачем мне нужно.

Мы подошли к пивному ларьку, и все, кто стоял в очереди, сразу стали смотреть на Тимофеева, тоже узнали его. Если бы он был один, наверняка бы его пропустили без очереди, но нас, как-никак, было девять человек, целая орда, так что пришлось постоять.

Конечно, все ребята тоже захотели пить. Выпить пива с самим Тимофеевым — такой случай они просто не могли упустить, и я купил восемь кружек и бутылку лимонада Лильке. Себе я, честно говоря, тоже хотел сначала купить лимонада, потому что пиво не люблю: горечь, как лекарство, не понимаю, что хорошего в нем находят, — но потом постеснялся и все-таки взял кружку пива.

— Ну, брат, спасибо, теперь я твой должник, — говорил Тимофеев, вытирая губы. — А пиво — что надо! Холодное пиво!

Он говорил со мной так, словно мы остались вдвоем, словно из всех нас он взял себе в товарищи меня одного. Еще десять минут назад я плелся с самого края, дальше всех от Тимофеева, потому что Вадик и Эрик совсем оттеснили меня и почти не замечали, а тут вдруг я сразу стал главной фигурой, и никто уже не мог оспорить мое

право стоять рядом с Тимофеевым и разговаривать с ним! Честное слово, в этот раз даже пиво показалось мне вовсе не таким уж невкусным!

— Это что! — говорил брат Вадика, хотя его никто и не слушал. — А я однажды двенадцать кружек выпил. Как сел с утра, понял, — так к обеду только и отвалился...

Мы выпили пиво и пошагали дальше.

Мы прошли еще два квартала и вышли на площадь — здесь, у стоянки такси, Тимофеев распрощался с нами.

— Ну, пока, ребята, — сказал он, садясь в такси. — Дела, тороплюсь. Если что понадобится, звоните!

В тот момент я был так переполнен впечатлением от знакомства с Тимофеевым, что даже не подумал, как же это он поехал на такси, если у него нет ни копейки... Эта мысль пришла мне в голову позже, когда я поднимался по лестнице домой. Но я тут же успокоил себя, решив, что могли же быть у него деньги дома и, приехав, он мог вынести их шоферу... Да Тимофеева, наверно, любой шофер и бесплатно согласился бы провезти.

И тут я вспомнил о двух рублях, истраченных на пиво. Я вовсе не должен был их тратить. Я должен был вернуть их, как всегда возвращал сдачу.

Теперь, когда я остался один, мое радужное, восторженное настроение заметно улетучилось. Я совсем не был уверен, что сумею объяснить отцу все так, чтобы он правильно понял. Если посмотреть со стороны, получалось, что я просто угощал пивом подвыпившего брата Вадика и его приятеля, да еще сам пил вместе с ними... Нечего сказать, хороша картина!

Но ведь дело было не в настроении! А как это объяснить, как рассказать об этом словами — я не знал...

Я поднялся на свой этаж, так ничего и не придумав.

Отец работал у себя в кабинете. Последнее время он работал особенно много, даже лицо у него осунулось, похудело, выражение озабоченности все чаще появлялось на нем.

— Ну как, опять продулся твой великолепный «Зенит»? — спросил он.

— Нет, почему, ничья...

— Ну, тогда поздравляю. Ужин на кухне.

Я торопливо поужинал и сел делать уроки, но из головы никак не выходили эти деньги.

«Подумаешь, — говорил я себе, — какие-то несчастные два рубля. Было бы из-за чего переживать. Вон Эрик берет у своей мамы из сумки то рубль, то трехку — и ничего. «Нужны же мне, — говорит он, — карманные деньги». «Эрочка, у меня не монетный двор, — отвечает ему мама, — будь, пожалуйста, поэкономней». И все. И никаких переживаний. А тут два рубля — мог же я, в конце концов, угостить своих товарищей...»

Я старался убедить, успокоить себя, но сам-то прекрасно понимал, что дело вовсе не в двух рублях...

«Ну и что же, — опять убеждал я себя, — вон ни Эрик, ни Вадик никогда не рассказывают обо всем своим родителям, даже Алик и тот не рассказывает. Почему же я должен? Я же вовсе не хочу обманывать отца или что-то скрывать, просто может же быть у меня что-то свое, собственное, что даже и не понятно отцу...»

И все-таки перед сном я решил попробовать рассказать отцу обо всем, как сумею. Я вошел к нему в комнату. Он на минуту оторвался от своих вычислений и посмотрел на меня отсутствующим взглядом.

— Ты уже ложишься? Ну иди, спи. А я еще немного поработаю.

Если бы он посмотрел на меня немного повнимательнее, он бы сразу понял, что я хочу поговорить с ним. Почему он не посмотрел на меня повнимательнее? Я бы рассказал ему все. Я бы ничего не стал скрывать. Но он не посмотрел, он сказал только: «Ну иди, спи».

И я пошел к себе в комнату. И опять, как тогда в театре, я подумал, что, наверно, моим друзьям живется проще с их родителями. Во всяком случае, расскажи я о своих переживаниях Вадике, или Сереге, или Эрику, они бы только посмеялись надо мной — стоит ли волноваться из-за такой чепухи. А я вот волновался и ничего не мог поделать с собой.

Мне нечего было опасаться, я мог быть спокоен, я знал, что отец не станет проверять меня и никогда не заподозрит в нечестности, но именно это сознание и было для меня сейчас тяжелее всего.

«Ладно, — подумал я, засыпая, — пусть уж все будет так, как получилось. Но зато больше никогда... никогда больше... я ничего не скрою от отца...»

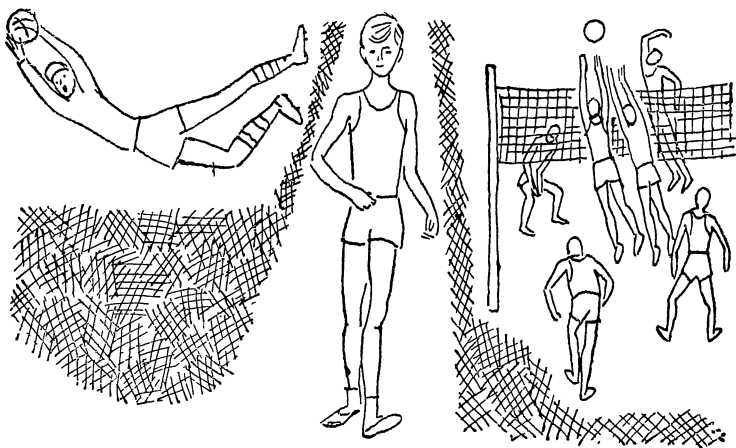
Я еще не знал, что обмануть во второй раз куда легче, чем в первый...

Глава 6

МЕЧТА МОЕГО ДЕТСТВА

Может быть, потому случайная встреча с Тимофеевым и знакомство с ним произвели на меня такое впечатление, что давно, еще класса с третьего или четвертого, у меня была мечта, ну, может быть, не мечта, а просто очень сильное желание: мне ужасно хотелось сыграть в футбол или волейбол за команду, за настоящую команду. Не класс на класс, как мы играли обычно на большой перемене или после уроков, не просто так, ради забавы, как играют на даче или во дворе, а именно за команду, чтобы все было, как в серьезном матче: и форма, и футболки с номерами, и настоящий судья со свистком, и точно очерченная, тщательно вымеренная площадка, и настоящие болельщики, а не просто зрители, которые только и жаждут, как бы одна из команд побыстрее вылетела, чтобы сыграть самим.

На футбол мне, конечно, нечего было рассчитывать, в футбол я играл неважно. Правда, мне однажды пришло, будто меня взяли в сборную вратарем и я стоял в настоящих воротах с полосатыми штангами и сеткой. Но такое могло случиться только во сне.



А вот в волейбол вполне могли бы и взять — я и бил прилично, и блок иногда ставил что надо, но почему-то каждый раз, как только начинают формировать школьную сборную, обо мне словно забывают. Сразу вспоминают какого-нибудь Гошу из 9«Б», или Диму из 10«А», их участие в сборной само собой разумеется, будто без них и команда существовать не может. А меня почему-то никто и всерьез не принимает, никому почему-то и в голову не приходит, что я могу сыграть ничуть не хуже — вот что меня больше всего удивляет. Не самому же мне напрашиваться!

Короче говоря, я уже потерял всякую надежду, что моя мечта когда-нибудь сбудется, а тут вдруг на перемене подходит ко мне Вадик — он хоть и маленького роста, а в защите играет, как зверь, такие мячи вытягивает, что закачаешься, — и говорит:

— Колька, будешь играть в сборной. Завтра приходи на тренировку.

Вот ведь как бывает: все желания всегда исполняются неожиданно. Обычно чего я только ни делал, как только ни вертелся у всех перед глазами, чтобы о себе напомнить, а в этот раз я даже не знал, что начинаются соревнования, и что Вадика назначили капитаном школьной команды, тоже не знал.

До первой встречи оставались считанные дни, сыграть мы, конечно, не успели, на тренировках больше злились друг на друга и орали, чем тренировались...

Вечером, накануне первой игры, я долго не мог уснуть.

В своем воображении я то ставил великолепный, непробиваемый блок, то в изумительном акробатическом прыжке под восторженные крики болельщиков вытягивал безнадежный мяч, то неотразимым ударом приносил команде последнее решающее очко...

Я знал, что все наши, вся наша компания собирается завтра явиться на соревнования — болеть за меня и Вадика. А Лилька? Придет ли она? Мне, конечно, очень хотелось, чтобы пришла...

Наверно, из меня никогда не выйдет настоящего спортсмена. Я так волновался перед началом игры, даже колени у меня вдруг начали дрожать, я никак не мог унять эту дрожь и очень боялся: а что, если кто-нибудь заметит, как меня трясет. Где-то я читал, что это состо-

яние даже имеет научное название: «предстартовая лихорадка». Но все-таки я думаю, что настоящих спортсменов перед Олимпийскими играми, наверное, лихорадило меньше, чем меня перед этой встречей на первенство района.

Я так волновался, что даже плохо понимал, что происходит вокруг меня.

Вадик, плотный, коротконогий, разминаясь, шевелил плечами, разводил в стороны руки и все повторял:

— Спокойно, мальчики, главное — спокойно. Играл на Сеницына.

Наверно, тоже от волнения я никак не мог сообразить — почему на Сеницына. Юрка Сеницын никогда не отличался особо сильным ударом. Или, может быть, в этом был какой-то свой расчет, какая-то хитрость, задуманная Вадиком? Но мне сейчас было не до того, чтобы ломать голову над его хитростями — я из всех сил старался справиться со своей трясучкой.

И только когда мы уже вышли на площадку и прокричали «физкульт-привет», я вдруг обнаружил, что рядом со мной стоит вовсе не Юрка Сеницын из восьмого «Б», а его брат, Геннадий, который еще в позапрошлом году кончил школу. Я удивленно посмотрел на Вадика, и тот подмигнул мне: мол, все в ажуре, не беспокойся.

Игра началась.

Куда девались все мои изумительные прыжки и удары, которые я так ясно видел вчера в своем воображении! Теперь я думал только об одном: как бы не смазать. И, конечно, сразу же смазал — самым жалким образом ткнул мяч прямо в сетку...

Я не решался взглянуть в сторону болельщиков, я еще раньше заметил, что там, рядом с Серегой и Аликом, сидит Лилька.

Молодец Вадик, он сделал вид, что ничего не случилось, словно и не заметил моего промаха, и только все время тихо повторял:

— Спокойно, мальчики, спокойно...

И тут на четвертый номер вышел Сеницын. Он играл сильно и уверенно, у него-то, ясное дело, не было никакой предстартовой лихорадки — говорят, в институте он выступает за факультетскую сборную, а там игроки немножко посильнее, чем у нас...

Уже к середине первой партии стало ясно, что наша команда сильнее: мы вырвались вперед на шесть очков, и сразу игра пошла увереннее, даже я расхрабрился и долбанул парочку раз, не очень, правда, здорово, но все же...

Когда во второй партии счет был 11:3 в нашу пользу, капитан наших соперников попросил перерыв. Вся их команда сбилась в кучу на краю площадки, они о чем-то совещались, поглядывая на Синицына. У меня замерло сердце. Вдруг они догадались о подставке и сейчас разоблачат нас — и судьи снимут нашу команду с соревнований?

Но мои опасения были напрасными — наверно, ребята просто договаривались, как лучше блокировать Синицына, только и всего...

Встречу мы выиграли. Наши болельщики окружили нас и поздравляли, и хлопали по плечам, а мы все никак не могли остыть, отойти от спортивного азарта, и даже жалко было, что все так быстро кончилось.

Потом мы пошли в душ, и пока мы проходили по залу, мне очень нравилось, как я выгляжу со стороны — в мокрой, темной от пота майке, со спутавшимися на лбу влажными волосами, с разбитым локтем — настоящий спортсмен, одержавший победу в нелегкой борьбе. Как хорошо, что Лилька видела меня в эту минуту!

Ребята ждали нас с Вадиком у выхода. Гена Синицын, конечно, сразу же ушел, он торопился, у него были свои дела, ему было неинтересно с нами. А мы не спеша двинулись по улице всей гурьбой: впереди я, Вадик и Лилька, а за нами — все остальные. И это тоже было очень здорово — идти вот так всем вместе и вспоминать все перипетии матча и слегка помахивать новенькой спортивной сумкой, в которой лежит самая настоящая форма с номером, нашитым на майке, и слушать остро-ты Эрика: «Ну, старик, скажем прямо, ты скакал, как кенгуру. Я уж говорил ребятам: держите его, держите за ноги, а то ведь через сетку перемахнет!»

Только воспоминание об унижительном холодке испуга, который я испытал, когда ребята из той команды совещались и поглядывали на Синицына, не давало мне полностью насладиться сегодняшним днем.

— Напрасно ты взял этого Синицына, — сказал я Вадику, — совсем ни к чему...

— Ну да! Первая встреча, ребятишки не сыгрались, надо было подстраховаться...

— Но все-таки нечестно... — сказал я.

— Подумаешь! Все так делают. Ты что, не знаешь?

Нет, я не знал этого, и я не был уверен, что все так делают.

Но я не стал спорить. Мне не хотелось портить настроение себе и ребятам: как-никак, а сегодня сбылась моя давнишняя мечта: я играл в самой настоящей команде, в самых настоящих соревнованиях с судьями и протоколами. Тем более, что мы все равно выиграли бы и без Синицына. Это же было ясно.

Когда я пришел домой, здесь меня ждал сюрприз. На столе лежала кожаная папка, та самая, которую мне давно уже хотелось.

Неужели отец догадался, что сегодняшний день был для меня праздником? Впрочем, догадаться об этом было несложно: последние дни я только и говорил о волейболе. Но я так обрадовался и удивился, что задал глупый вопрос:

— Папа, это мне?

— Не знаю. Может, тебе, а может, и мне, — сказал отец сердито.

Я давно уже заметил, что когда он говорит мне что-нибудь ласковое или делает подарок, то всегда смущается и сердится на себя за это смущение. А меня очень удивляет, когда взрослые люди смущаются — почему-то мне кажется, что взрослые не должны смущаться.



Глава 7

ПРОЩАЙ,
АЛИК

Когда в тот вечер мы возвращались из спортивного зала, я еще не знал, что вот так, все вместе, мы идем в последний раз, что очень скоро мы расстанемся с Аликом.

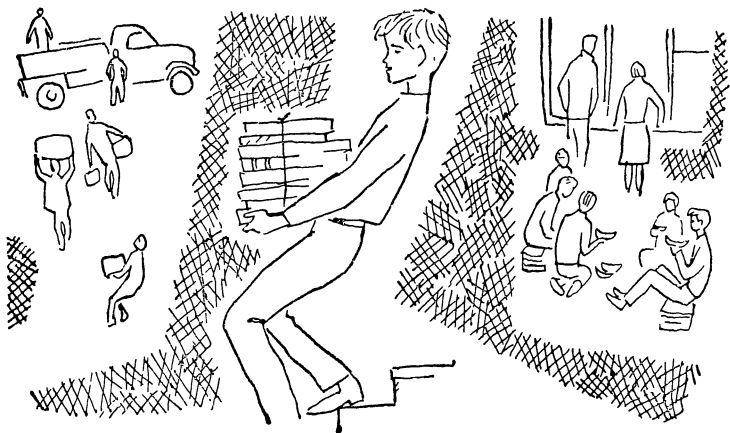
В понедельник Алик не пришел в школу, и я решил, что у него началась какая-нибудь очередная болезнь, но вечером он появился во дворе живой и здоровый и сообщил, что его родителям дали квартиру в новом районе, что уже есть ордер и ключи, и что сегодня они с отцом ездили смотреть свое новое жилище.

— Ничего квартирка, нормальная, главное — с балконом!

Алик был очень взбудоражен, взвинчен и говорил, не замолкая ни на минуту. Остановить его было невозможно.

До сих пор они вчетвером — Алик, отец, мать и бабушка — занимали маленькую комнату в коммунальной квартире, такой огромной, что в ее коридоре вполне можно было сдавать нормы ГТО по бегу.

На другой день я отпросился с последнего урока,



чтобы помочь Алику переезжать. И Вадик, и Серега, и молчаливый Витёк, и даже Эрик в своей специальной английской школе — все тоже отпросились.

Шофер грузотакси с ленивым любопытством наблюдал, как мы, обгоняя друг друга, носимся по лестнице и таскаем связанные бечевкой стопки книг — их было так много, что казалось просто невероятным, как только они могли уместиться в крохотной комнатке... Наверно, шофер все ждал, когда же мы начнем грузить что-нибудь более существенное, но так и не дождался: всю старую мебель родители Алика решили выбросить.

В новой квартире было очень тихо, светло и прохладно. Мы сидели кто на полу, кто на книгах, а мамаша Алика угощала нас дыней.

Дыня была огромная, наверно, килограммов двадцать, ну, может быть, не двадцать, но десять-то уж точно. А сверху на ее корке были вырезаны большие буквы — наши инициалы, это, конечно, Алик постарался.

Сам он восседал среди нас со счастливым, перепачканным дынным соком лицом и говорил:

— Ничего, ребята, я буду приходить к вам, обязательно буду, вот увидите. Подумаешь — если на автобусе ехать, то всего каких-нибудь полчаса. А скоро метро проведут, совсем близко будет.

И, конечно, в этот момент Алик верил, что он обязательно, чуть ли не каждый день будет приезжать к нам, что ничего не изменится, но я-то лучше Алика знал, что это неправда. И так-то последнее время он все реже появлялся по вечерам во дворе, возле шестой парадной — все готовился к каким-то олимпиадам; все решал задачки, все занимался своей любимой физикой — где уж теперь ему выбраться! И от этого мне сделалось грустно: все-таки Алик был мне ближе всех из нашей компании, сколько лет мы прожили вместе с ним в одном доме, на одной лестнице — с самого дня рождения, это же не шутка!

Вообще наша компания, кажется, начинала постепенно разваливаться.

Серега, похоже, становился знаменитостью. Он занял первое место в районном турнире, а потом во время сеанса одновременной игры умудрился обыграть гроссмейстера, и его даже показывали по телевизору. Было очень интересно увидеть на экране знакомую физионо-

мию. Интересно и смешно. Серега явился на передачу в черном костюме, в рубашке с ослепительно белыми манжетами и запонками, и рядом с ним гроссмейстер в обычном сером пиджаке и клетчатой рубашке выглядел совсем невзрачно. Серега очень волновался, не знал, куда деть руки, и поминутно поправлял галстук. «Подумаешь, ничего особенного, только жарко», — сказал он нам после. Конечно, у него теперь не оставалось времени, чтобы безыдейно торчать во дворе.

— Вы даже не представляете, — говорил он нам, — что это значит: всерьез заниматься шахматами.

Он подчеркивал слово «всерьез».

Меня почему-то раздражали его разглагольствования — получалось, будто мы бездельники, у нас есть время собираться и торчать у парадной, а он — ужасно серьезный, занятый человек, ему некогда.

У Лильки тоже появились какие-то свои дела.

Так что все чаще мы теперь собирались вчетвером: Эрик, Вадик, Витёк и я.

Иногда мне представлялось, как пройдет несколько лет, может быть, десять или пятнадцать, а мы, четверо, останемся по-прежнему верны нашей дружбе. И вот однажды мы будем идти по улице и нам навстречу вдруг попадется Алик или Серега, или Лилька.

Но мы, конечно, уже не узнаем друг друга. В этой картине было что-то очень красивое, трогательное и в то же время грустное...

Как-то дома я в одном из старых журналов случайно обнаружил анкету-вопросник — на нее предлагалось ответить всем читателям. Всего вопросов было пять или шесть, и я, конечно, немедленно пристал к отцу, чтобы он ответил, ну хотя бы на первые два.

— Ну-ка, что там у тебя такое? — Он заглянул в журнал и усмехнулся. — Придумают же люди...

— Пап, только серьезно, слышишь?

Он подумал немного, потом быстро написал что-то и протянул мне журнал:

— На, читай.

Я прочел:

«Что вы считаете в жизни самым страшным для человека?

Потерять уважение к самому себе.

Что вы считаете самым трудным?

Всегда оставаться самим собой.»

Я подозрительно посмотрел на отца — мне вдруг показалось, что эти ответы он написал специально для меня, особенно второй. Я и сам последнее время замечал, что нет-нет, да и промелькнет у меня какой-нибудь жест Вадика или словечко Эрика, его интонация, его манера растягивать слова. Ну и что же? Что в этом плохого? Мне, например, очень нравится их взрослость, их самостоятельность, их независимость. Я даже на школьном вечере, пока собираюсь пригласить танцевать незнакомую девочку, пока собираюсь заговорить с ней, раз десять покраснею и потом пробормочу что-нибудь нечленораздельное, а Эрик, тот подлетает как ни в чем не бывало: «Здравствуйте, мне кажется, мы с вами уже где-то виделись. Ах, нет? А может быть, все-таки да? Вы никогда не бывали в Супикове? Да нет, я не шучу, город такой есть, посмотрите на карте...» И все, и начался разговор, и через пять минут они оба уже смеются как старые знакомые...

Так что если я и перенял что-нибудь от своих приятелей, не вижу в этом ничего ужасного...

На следующий день вечером я с журналом помчался во двор, мне не терпелось узнать, что ответят на вопросы анкеты мои друзья.

— Самое страшное, — многозначительно сказала Лилька, — это разочароваться в жизни.

— А по-моему самое страшное, — неожиданно сказал молчаливый Витёк, — это когда человек болен и знает, что умрет.

— Ничего подобного! — выкрикнул Эрик. — Самое страшное, на восьмидесятом этаже небоскреба вспомнить, что ключи от квартиры забыл внизу!

— Самое трудное — это штаны снимать через голову, — мрачно сказал Вадик.

И пошел самый настоящий треп. Каждый старался придумать что-нибудь посмешнее. Так мне и не удалось выяснить, что же мои друзья всерьез считают самым страшным и самым трудным в жизни...

В конце ноября произошло важное событие: Вадика приняли в комсомол.

Автобиография в двух словах, общественная работа,

как учишься, что такое демократический централизм — и все в порядке, Вадим Банщиков, можешь считать себя комсомольцем.

На собрании Вадик держался солидно, по-взрослому. Я давно уже подметил, что чем больше люди переживают из-за своего роста, тем солиднее, значительнее они стараются выглядеть. У Вадика эта способность была развита блестяще: при посторонних людях он словно надувался, делался таким важным, что даже подойти к нему было страшно.

На вопросы он отвечал обстоятельно и неторопливо, почти не волнуясь. Да и что ему было волноваться — уже заранее было ясно, что примут.

И только один человек, один-единственный человек во всем зале сомневался — стоит ли принимать Вадима Банщикова, 1947 года рождения, русского, в комсомол... И этим человеком был я, его приятель, его товарищ, его друг.

Почему? Я и сам не мог объяснить толком.

Тот случай с волейболом меня смущал, что ли... Или тогда в трамвае...

Впрочем, все это, пожалуй, относилось уже к области «эмоций и туманных сновидений», как говорит наш физик Андрей Петрович, когда кто-нибудь из нас несет у доски полнейшую отсебятину...

И разве я мог выступить против Вадика — это было бы настоящим предательством. Да и не было у нас в школе ни одного такого случая, чтобы кто-нибудь выступал против, разве что только учителя или директор, если в комсомол принимали заядлого троечника.

— Почему до сих пор не вступал? — крикнул Вадиду кто-то из зала.

— Считал себя недостаточно подготовленным, — ответил Вадик и скромно потупился.

Он мог обмануть кого угодно, но только не меня, нам-то он обычно говорил совсем другое, нам он отвечал коротко: «А зачем?»

— Все ясно, — сказал председатель. — Если других предложений нет, приступаем к голосованию. Кто за?

Если бы была моя воля, если бы от меня это зависело, я бы принимал в комсомол только таких ребят, только таких..., ну, самых честных, что ли, самых достойных... И я бы устраивал всем проверку, я бы испы-

тывал всех каким-нибудь трудным делом, только по-настоящему трудным. А не таким, какое поручили мне, когда я стал комсомольцем. Тогда у нас в школе решили организовать свой музей, свою малую Третьяковку и на мою долю досталось вырезать репродукции из старых «Огоньков». Ужасно ответственное поручение! И вообще, по-моему, это была глупая затея — развешивать картинки по стенам, лучше было лишний раз сходить в Эрмитаж или Русский музей...

Но пока что от меня ничего не зависело, и в нашей школе в комсомол принимали всех подряд, лишь бы не было двоек, лишь бы участвовал в общественной работе. А за отличниками так даже бегали, уговаривали их подавать заявления... Так почему же не принять Вадима Банщикова, чем он хуже?

— Кто за? — повторил председатель. — Прошу поднять руки.

И все подняли руки. И я тоже поднял.



— Может быть, хватит на сегодня? — сказал отец самому себе. — По-моему, определенно хватит.

Он встал из-за письменного стола и потянулся, помахал руками, разминаясь.

— Самое время пойти подышать свежим воздухом. Ты, как, составишь мне компанию?

Он мог и не задавать мне подобных вопросов — я всегда очень любил гулять вместе с отцом, только последнее время это получалось редко — все он был занят, все пропадал в своем институте. А сегодня он не пошел на работу, остался дома — писал какую-то статью или доклад. Вообще, он мог оставаться дома, когда хотел, когда считал нужным, и никто, конечно, его не проверял, никто не контролировал. Но оставаясь дома, он, по-моему, работал еще побольше, чем в институте. Я просто удивляюсь всегда, как он может столько работать, как ему не надоедает? Если бы я хоть наполовину работал так, как мой отец, я бы давно уже был отличником-перетличником, давно бы уже, наверно, учился в какой-нибудь особой-переособой школе для сверходаренных детей. Как-то я спросил отца:



— Пап, неужели тебе не надоедает — все время работать и работать?

Он засмеялся и ответил:

— Знаешь, что сказал по этому поводу один умный человек? Один умный человек сказал: «В жизни есть только одно наслаждение, которое не оставляет после себя осадка. Это труд». Когда-нибудь ты тоже поймешь это...

Может быть, когда-нибудь я и правда пойму, но пока что я не очень-то поверил в это. Мне, например, сиденье за учебниками никогда не доставляло особого наслаждения...

Мы оделись и вышли на улицу. С Невы дул сырой порывистый ветер. Уже темнело, но фонари еще не зажглись.

Мы шли молча. Отец, хмурясь, думал о чем-то своем, наверно, он все еще не мог оторваться от письменного стола. И я тоже молчал, я не хотел ему мешать.

Я вообще не понимаю, почему люди считают, что обязательно нужно о чем-то разговаривать. Иногда даже лучше идти вот так — молча.

Когда мы проходили мимо маленького тира, отец вдруг повернулся ко мне:

— Зайдем?

— Зайдем!

Раньше, когда я был поменьше, мы с отцом частенько стреляли в этом тире — это было мое самое любимое развлечение. Я тогда еще едва доставал до барьера, к тому же всегда забывал, какой глаз нужно зажимать, прицеливаясь, а когда нажимал спусковой крючок, то закрывал сразу оба. Но зато как я радовался, когда полосатый арбуз вдруг распадался на две половинки и из него возникала маленькая балерина, или когда желтый лев переворачивался вверх ногами, или начинали вертеться разноцветные крылья мельницы... Моей мечтой было сбить маленький серебристый самолет, подвешенный под самым потолком, — при метком выстреле самолет скользил по проволоке вниз, к стене, и когда, наконец, ударялся о стену, раздавался громкий взрыв. Но у этого самолета был очень маленький, прямо крошечный кружок для попадания, мне никак не удавалось угодить в него...

И теперь, как я ни целился, как ни подводил мушку под самое яблочко, все пульки летели мимо, серебристый самолет не трогался с места. А отец стрелял быстро, почти не целясь. Только, щелкнув, разламывалось в его руках ружье, когда он загонял в ствол очередную пульку, да хлопали выстрелы.

Раз! — и перевернулась утка.

Раз! — и тигр прыгнул сквозь обруч.

Раз! Раз! — и завертелась балерина. И человек с усиками сдернул цилиндр.

— Еще десяточек, будьте добры. Ну-ка, что там еще осталось? Что там еще?

Неожиданно я ощутил какую-то тревогу, я никогда раньше не видел, чтобы отец стрелял в тире так торопливо, с таким азартом, он словно старался отвлечься, старался уйти от каких-то своих мыслей.

Мне так и не удалось сбить серебристый самолет, только шесть пульек зря потратил, он был точно заколдованный. Пришлось переключиться на уток, пока отец еще не успел всех посбивать...

Когда мы вышли из тира на улицу, уже зажглись фонари, и неоновые рекламы сверкали всюду.

— Мо-ро-же-но-е, — прочел отец по слогам. — Зайдем?

— Зайдем!

Мороженое тоже всегда входило в программу наших развлечений в те времена, когда я был поменьше, когда каждое воскресенье мы обязательно отправлялись гулять вместе с отцом. Теперь мы повторяли маршрут этих давних прогулок.

И опять, как и в тире, мне показалось, что отец старается забыть, отвлечься, избавиться от чего-то, что не дает ему покоя. Опять какая-то тревожная торопливость почудилась мне в его движениях.

Официантка поставила перед нами вазочки с мороженым, сифон с водой, два стакана.

— Папа, — сказал я. — У тебя неприятности?

— Нет, откуда ты взял?

— Я же вижу.

Он промолчал.

— Почему ты не хочешь сказать? Что случилось?

— Пока ничего.

— Почему пока?

— Потому что надо дожидаться, когда кончится серия опытов. Тогда будет видно.

Я облегченно вздохнул. Почему-то я был уверен, что от этих опытов, суть которых не очень-то и понятна непосвященному человеку, вряд ли может зависеть что-нибудь особо серьезное.

Вот раньше — дело другое. Я читал, например, как Мечников, чтобы доказать свою правоту, проглотил холерных вибрионов. Это было здорово, это было героично! А теперь что...

«Берем один нерв, кладем его в раствор, потом раздражаем нерв электрическим током. Результаты записываем. Берем другой нерв, кладем его в другой раствор, затем раздражаем электрическим током. Результаты записываем. Берем третий нерв, кладем его в третий раствор...» — так однажды рассказал мне об этих опытах лаборант Миша.

— И сколько же раз? — спросил я.

— Может, десять, а может, и сто, когда как, — ответил он.

... Возле кинотеатра отец уже не спрашивал меня: «Зайдем?» Мы просто переглянулись и направились к кассам.

Мы пристроились в хвост довольно длинной очереди и стали терпеливо ждать, но очередь почти не двигалась.

— Нет, это безнадежно, — услышал я вдруг позади себя знакомый голос.

Я быстро обернулся и увидел Тимофеева. Он стоял вполоборота ко мне и разговаривал с какой-то девушкой. Вот он повернулся, он был совсем рядом, я даже слышал, как зашуршал его синий нейлоновый плащ. Взгляд его скользнул по моему лицу.

«Неужели не узнает?»

Я боялся поздороваться первым. Больше всего мне сейчас хотелось, чтобы он узнал меня. Это же я! Я! Неужели вы меня не узнаете!?

И вдруг он улыбнулся своей широкой, белозубой улыбкой и кивнул — кивнул мне!

Потом он что-то сказал девушке и стал пробираться через толпу к окошечку администратора.

— Кто это? — спросил отец.

— Это... Тимофеев, — помимо моей воли голос мой

многозначительно дрогнул и в нем зазвучали торжественные нотки.

— Аа... — отозвался отец рассеянно. То ли ему ни о чем не говорила эта фамилия, то ли он опять погружился в свои мысли.

Зато я заметил, как несколько мужчин в очереди с интересом посмотрели на меня, они-то, конечно, отлично знали, кто такой Тимофеев.

Через несколько минут Тимофеев появился уже с билетами, он взял под руку девушку и они ушли.

А мы остались стоять.

Будь со мной Эрик или Вадик, они бы, наверняка, сумели пролезть без очереди, они бы постыдились выстаивать такую очередь. Да и я, конечно, тоже мог попытаться, но я знал, что отец не любит, просто не переносит подобных вещей. Он бы и в кино, наверно, не пошел, если бы я достал билеты без очереди. Такой уж он человек.

И мы продолжали терпеливо стоять в самом хвосте до тех пор, пока над кассой не появилась вывеска: «Все билеты проданы».

И тогда мы пошли домой.

Проходя через двор, я по привычке посмотрел в сторону шестой парадной, но возле нее никого не было. Может быть, ребята разошлись уже по домам, а может быть, ветер загнал их в подъезд...

Но события этого дня еще не кончились. Было уже совсем поздно, и я заканчивал уроки — письменное упражнение по английскому, когда вдруг раздался звонок. Открывать дверь пошел отец, и я услышал, как из коридора донесся голос Галины Аркадьевны:

— Алексей Николаевич, бога ради извините, что я врываюсь к вам так поздно. Но я только на минуту. Просто очень хотелось поговорить с вами.

— Пожалуйста, пожалуйста, — отвечал отец, — совершенно незачем извиняться. Ну, докладывайте, что там стряслось?

— Здравствуй, друг мой Колька, — сказала Галина Аркадьевна, — все учишься? — но сказала она это почти машинально, по привычке, и даже не дождалась ответа, а сразу прошла с отцом в его кабинет и стала что-то рассказывать торопливо и взволнованно.

Отец иногда перебивал ее, переспрашивал или встав-

лял два-три слова. О чем они говорили, я толком не мог понять — наверно, опять о своих опытах. Несколько раз я слышал, как называли они какие-то фамилии — иностранные и русские, и время от времени среди этих не известных мне фамилий вдруг всплывали две знакомые: Осинин и Колесов.

И снова — уже в третий раз за сегодняшний вечер — ощущение тревоги охватило меня.

«Пока ничего», — сказал мне отец, когда мы сидели в кафе-мороженом. Но почему все-таки «пока»? Значит, могло что-то случиться? И, может быть, уже случилось, если Галина Аркадьевна пришла к нам так поздно...

А тут еще, прощаясь, она вдруг наклонилась ко мне, обняла за плечи и прошептала в самое ухо:

— Береги своего отца, Колька... Он у тебя очень хороший человек, слышишь?

С чего она заговорила сегодня об этом? И вообще — смешно говорить мне такие вещи! Как будто я сам этого не знаю!

Отец пошел проводить Галину Аркадьевну до автобусной остановки, а я стал укладываться спать. Потом, уже лежа в кровати, я слышал, как он вернулся, как ходит по кабинету. Четыре шага туда, четыре — обратно, от стены к стене, четыре — туда, четыре — обратно...

Сколько же можно так ходить? Я решил, что ни за что не усну, пока он не ляжет. Пусть хоть целую ночь придется лежать с открытыми глазами...

Тикали часы на столике, да раздавались за стеной шаги отца — больше никаких звуков не было слышно в нашей квартире...

Наверно, я все-таки заснул, потому что скрип двери показался мне очень громким. Я дернулся и открыл глаза.

В комнате стоял отец.

— Ты не спишь? — шепотом спросил он.

— Нет, — торопливо сказал я.

Он повернулся к окну и стал смотреть на улицу. По стеклам барабанил мелкий дождь.

— Если бы у тебя был учитель, — негромко сказал отец...

— Если бы у тебя был учитель, — повторил он, — которого ты бы очень любил...

— Профессор Колесов? — спросил я.

— Да, профессор Колесов... Если бы у тебя был такой учитель... Если бы он был для тебя больше, чем учителем... Ты понимаешь меня?

— Да, понимаю, — я тоже почему-то говорил тихо, почти шепотом.

— И вдруг бы выяснилось, что он ошибался...

— Как? — быстро спросил я.

— Да, вот представь себе, вдруг бы выяснилось, что он ошибался. Как бы ты поступил?

— Я не знаю, — нерешительно сказал я. — Я не знаю.

— Вот и я не знаю, — сказал отец.

Я никогда не думал, что большие ученые тоже могут ошибаться. Как же это так?

— Бывают в науке такие случаи, — словно отвечая на мои мысли, сказал отец. — Профессор Колесов, конечно, был очень крупным ученым, настоящим исследователем. Галина Аркадьевна уже рассказывала тебе: в последние годы своей жизни он пытался объяснить некоторые сложные процессы, происходящие в клетке. Процессы, которые пока еще очень мало изучены. И он выдвинул свою теорию — смелую, оригинальную теорию. Я не буду объяснять, в чем ее суть, ты все равно вряд ли поймешь. Да это и неважно. За свою жизнь у Колесова было немало интересных работ, но эта, последняя, была его самой любимой, наверно, он чувствовал, что она — последняя. Одни ученые и у нас, и за границей принимали эту теорию, другие — отвергали. Одни опыты ее подтверждали, другие ставили под сомнение. Короче говоря, чтобы проверить ее, нужна была еще долгая работа, надо было поставить сотни, а может быть, даже тысячи опытов. Сам Колесов не успел закончить свой труд, но он надеялся на нас, своих учеников. И мы провели эти опыты.

Отец помолчал немного и сказал:

— Теория Колесова оказалась неверна. Теперь мы знаем это почти определенно.

— Значит, Осинин был прав? — спросил я испуганно.

— Нет, — сказал отец. — Такие люди, как Осинин, правы никогда не бывают. И знаешь, почему? Потому

что у них нет своих взглядов. Они — как рыбы-прилипалы. Но дело не в этом. Дело даже не в том, что теория Колесова оказалась ошибочной. В настоящей науке ничего не бывает бесполезным. Даже ошибки. Знаешь, когда я приезжаю в незнакомый город, и у меня есть время, я люблю искать нужную мне улицу сам, ни у кого не спрашивая. Сначала идешь в одну сторону, возвращаешься, идешь в другую. Зато потом уж будешь знать весь город, как свои пять пальцев. Так же и в науке. Только спросить, куда идти, здесь уж, действительно, не у кого. Так что ошибок не надо бояться. Но вот когда я вспоминаю, как дорога была Колесову его последняя работа, как волновался он, как загорался весь, когда говорил о ней, как верил он в свою правоту, я не могу, понимаешь, не могу...

Отец замолчал. Он стоял, по-прежнему повернувшись к окну, я видел только его темную спину, он словно вовсе и не со мной говорил, а просто думал вслух. А может быть, он все-таки ждал, что скажу ему я. Но что я мог сказать. Я молчал.

— Пока об этом знают только у нас в институте, — снова заговорил отец, — но через неделю, или через две, или через месяц, если мы сообщим об окончательных результатах опытов, я представляю, какой шум поднимут люди, подобные Осинину, чего только не наговорят они о Колесове! Они только и ждут подходящего момента.

«Он сказал «если», — подумал я, — «если мы сообщим»...»

И снова, будто угадав мои мысли, отец спросил:

— Знаешь, о чем мы говорили сегодня с Галиной Аркадьевной? Может быть, мы не должны, не имеем права публиковать сейчас результаты опытов? Ради памяти Колесова? Только ради его памяти. В конце концов у нас есть еще десятки проблем, которыми мы можем заниматься... и занимаемся...

Нет, конечно, он вовсе не ждал сейчас моего совета, он вовсе не ждал, что я сумею помочь ему, но просто разговаривал сам с собой, просто думал вслух — наверно, от этого ему становилось легче...

А я... Я что ж, я ведь никогда не видел профессора Колесова. я не был с ним знаком, для меня он был все равно, что Чарльз Дарвин на картинке в учебнике. И я

думал сейчас совсем о другом. Я думал, почему это в школе нас учат так, словно все уже давным-давно известно, словно все уже открыто и изучено. Вот обыкновенная клетка, казалось, чего проще — когда в пятом классе мы рассматривали под микроскопом срез кожицы лука. Ядро, оболочка, протоплазма, все на виду, подумаешь, какая сложность! А оказывается, целые институты, сотни ученых бьются над ее загадками, и спорят, и ошибаются, и надеются, и не спят по ночам, и сражаются за свои взгляды...

Я так и не дождался, когда отец ляжет спать. И последнее, что я видел, уже погружаясь в сон, уже чувствуя, как закрываются у меня глаза, была темная фигура отца на фоне окна...



ГЛАВА 9

ЧТО Я ТАКОГО СДЕЛАЛ?

— Мальчики, — сказала Лилька, — завтра приглашаю вас на день рождения.

— Смокинги надевать? — крикнул Эрик.

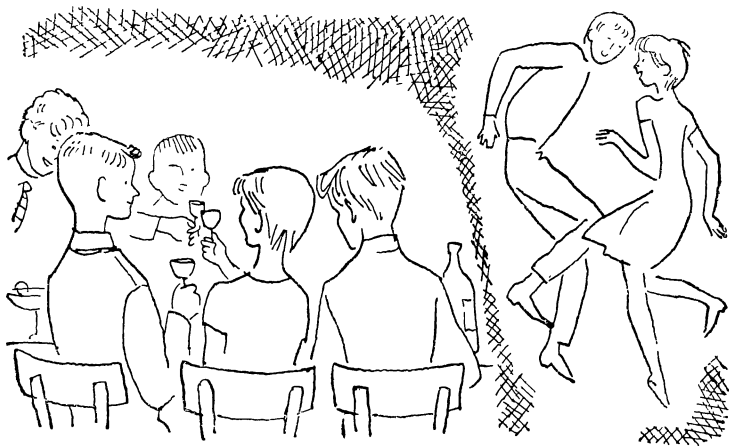
— А выпить дадут? — спросил Вадик.

— В лучших домах Филадельфии, — сострил я, — неприято задавать такие вопросы.

— Дадут, дадут, конечно, дадут, — сказала Лилька, — только не очень поздно, ладно, мальчики?

На другой день все шесть уроков подряд я ломал голову, что бы такое подарить Лильке. Обычно даже своим товарищам, мальчишкам, я никогда не мог придумать сколько-нибудь оригинального подарка, пределом моей фантазии становилась авторучка или готовальня, а уж найти подарок для девчонки — эта задача казалась мне совершенно непосильной.

И все-таки я придумал. Я решил подарить ей книгу Ремарка «Три товарища». По-моему, это была удачная мысль, мне, во всяком случае, она очень нравилась. Я даже сочинил замысловатую выразительную надпись: «Лиле, от одного из трех». Это было не совсем точно, но



зато красиво. Я имел в виду себя, Эрика и Вадика. Молчаливого Витькá и Серегу пришлось не принимать в расчет.

Я старательно отгладил брюки, надел новую рубашку и уже совсем было собрался идти в гости, когда вернулся с работы отец.

Он опять был чем-то расстроен, и лицо у него было усталое — даже темные круги выступили под глазами.

Он выпил на кухне чашку бульона, нашего национального кушанья, нашего фирменного блюда, как обычно шутили мы, и прилег на диван. Раньше с ним никогда такого не бывало, он никогда не любил лежать днем.

— Папа, ты что, плохо себя чувствуешь? — спросил я упавшим голосом.

— Нет, ничего, просто устал немного. Пять часов отсидел на ученом совете.

— Может быть, я не пойду лучше? — неуверенно спросил я.

— Нет, почему же, иди. Иди, конечно.

Я стоял посреди комнаты в нерешительности. В глубине души я чувствовал, что мне лучше не ходить, что я должен остаться с отцом. Но в то же время мне так хотелось пойти! Я ведь собирался весь день, я весь день только и думал об этом, я ведь еще ни разу не был у Лильки дома, в гостях. И потом я же обещал.

Я еще раз посмотрел на отца.

— Пап, ты правда хорошо себя чувствуешь?

— Правда, правда. Иди, а то опоздаешь.

Он оказался прав. Я действительно чуть не опоздал, пришел самым последним, за столом даже не было уже свободного места, пришлось всем потесниться и втиснуть еще один стул. Но зато я оказался рядом с Лилькой, раскрасневшейся, оживленной и веселой.

— А мы думали, что тебя папаша не отпустил, — сказал Вадик.

Я молча пожал плечами: мол, ерунда какая, даже и возражать не стоит.

За столом кроме наших, было еще человек шесть-семь незнакомых. Один парень мне сразу не понравился, может быть потому, что он тоже сидел рядом с Лилькой, я бы предпочел, чтобы на его месте был кто-нибудь из наших. Он нарядился в какую-то странную куртку, — по-моему, раньше такие куртки надевали

рыцари под свои доспехи — спереди она была блестящей, черной, кожаной, а сзади обыкновенной, шерстяной, как свитер. Парня этого звали Юрой, я это сразу усвоил, слишком часто Лилька обращалась к нему по имени.

Сначала за столом все чувствовали себя скованно, не то что во дворе, возле шестой парадной. Хорошо еще хоть Лилькины родичи, выпив по рюмке за новорожденную и выслушав наши вежливые поздравления, удалились не то в другую комнату, не то в кухню и затихли там, словно их и не было вовсе в квартире.

Разговор вяло перебрасывался с одной темы на другую, потом голоса стали звучать громче, веселее, и скоро за столом уже стоял беспорядочный гвалт, все говорили и спорили разом.

— Все великие люди учились плохо. Ты почитай биографии, почитай. . .

— У «Зенита» никаких шансов. . .

— По Би-би-си говорили, я же сам слышал. . .

— Нет, ты ответь, ответь, почему «квас» пишется вместе, а «к вам» отдельно?

— Подумаешь, я однажды три стакана портвейна выпил, и ничего, ни в одном глазу!

— Нет, я лично влюблена в Козакова. . .

— Девочки, а правда говорят, что Лолита Торрес больше не будет сниматься?

— Ну ты даешь, мотороллер лучше мотоцикла?

Разговор был как разговор, сумбурный, ни на чем долго не задерживающийся, обычный застольный разговор. Но вдруг я почувствовал, как что-то в нем начинает меня раздражать. Уж слишком часто и слишком уверенно звучал за столом голос Лилькиного соседа. Этот парень, точно жонглер в цирке, ловил обрывки споров то на одном конце стола, то на другом и повсюду тоном знатока успевал вставить свое слово, пояснял, растолковывал, подтверждал или говорил «нет». Поразить он хотел нас своей образованностью, что ли? Он знал, что Лолита Торрес действительно сниматься больше не будет, что портвейн «три семерки» — мура, что из последнего французского фильма вырезали два самых интересных куса, что японские транзисторы — лучшие в мире, и что мотоцикл «К-150» никуда не годится.

О мотоциклах за столом говорилось особенно много. Мы все последнее время мечтали о мотоциклах. И я тоже.

Когда-нибудь я куплю себе мотоцикл и белый шлем, такой, как у настоящих гонщиков, и черную жесткую куртку, получше, чем у этого типа. Мотор ревет, ветер свистит в ушах, ветер ударяет в лицо — хорошо!

Я уже приготовился вмешаться в спор о мотоциклах, я хотел показать, что тоже кое-что понимаю в этом деле, но тут Лилька сказала мне:

— А знаешь, у Юры есть свой мотоцикл. Ему отец подарил, когда Юре исполнилось шестнадцать лет.

Значит, мало того, что этот Юра имеет свой мотоцикл, он еще и старше меня! У меня сразу пропало желание вмешиваться в спор.

Но странное дело, чем сильнее меня раздражал этот тип, тем больше мне хотелось, чтобы он обратил на меня внимание. Чтобы он посмотрел на меня и подумал: «Интересно, кто такой этот неразговорчивый, задумчивый парень?» И чтобы он спросил об этом у Лильки. И чтобы Лилька ответила: «Как, неужели ты не знаешь? Это же...» Но что она должна была сказать дальше, я никак не мог придумать.

Мы выпили еще портвейна. Эрик и Вадик наперебой рассказывали анекдоты, Лилькины подруги смеялись...

— Старик, что это у тебя за значок?

Я даже не сразу понял, что Лилькин сосед обращается ко мне. Но Лилька дернула меня за рукав и повторила, словно переводчица:

— Юра спрашивает, откуда у тебя этот значок?

— А, этот? — небрежно сказал я. — Это мне отец привез из-за границы... Из Югославии. Он был там на симпозиуме.

Наверняка, он не знал, что такое «симпозиум», и никто за столом не знал, я был уверен. Ему пришлось молча проглотить это слово, не мог же он при всех спрашивать меня, что оно значит.

— А, — сказал он, — я так и думал, что из Югославии.

— Это еще что! — сказал я. — А вот у меня марочки есть заграничные, ценные! Моему отцу откуда только письма не приходят — даже из Австралии...

— Из Австралии? — сказала Лилькина подруга. — Ой, как интересно!

— Да, из Австралии ему один доктор пишет, и с Новой Зеландии... И из Америки... — я почувствовал, что за столом стало тише, что говорю уже один я, и это подстегнуло меня еще больше. — Мой отец говорит, что в вопросах, которыми он занимается, по-настоящему разбираются всего несколько человек во всем мире...

Правда, мой отец никогда не говорил мне ничего подобного, это я слышал от лаборанта Миши. Но в конце концов, какая разница?

— Ну уж загнул! Во всем мире — несколько человек?

Я даже не заметил, кто произнес эти слова, но тут же в ответ уверенно зазвучал голос Юрия:

— Почему загнул? Вполне возможно, ничего удивительного. В наше время в науке существует столько узких специальных проблем...

Оказывается, он, и правда, кое-в чем разбирался.

— Ну вот, — продолжал я, — эти ученые и переписываются друг с другом. Мол, так и так, не можете ли вы, дорогой сэр, прислать мне оттиск вашей последней статьи...

— А что такое оттиск? — спросила Лилькина подруга.

— Ну, пошли серьезные разговоры! — закричал Эрик. — Ужас как люблю поговорить с образованным человеком!

И за столом все снова загалдели и засмеялись, снова застольный разговор распался на путаницу отдельных фраз, но теперь я уже не чувствовал себя тихим незаметным гостем, для которого даже не хватило стула. И от этого, а может быть, от выпитого портвейна я вдруг ощутил прилив уверенности и веселья. Даже Юрий в своей средневековой куртке казался мне теперь вполне симпатичным парнем. Мне хотелось еще поговорить о моем отце, но девочки уже нетерпеливо посматривали в сторону магнитофона, принесенного Эриком.

Эрик первым встал из-за стола.

— Давайте, старики, поднимайтесь, вам что, здесь харчевня? Вас что — дома не кормят?

— Мальчики, — сказала Лилька, — кто не танцует, может пить кофе или играть в карты. — Ей, видно,

ужасно нравилась роль хозяйки и ужасно хотелось, чтобы все было по-настоящему, по-взрослому.

— Как в лучших домах Филадельфии! — выкрикнул я и засмеялся. Я и сам не знал, откуда ко мне привязалась эта фраза, где я ее вычитал.

Танцевал я неважно. Правда, на заре туманной юности, а точнее, в шестом классе, был в моей жизни период, когда я усиленно пытался овладеть искусством танца, но из этого ничего не вышло. Слабый музыкальный слух, что поделаешь!

На танго бы я еще решился, но у Эрика, я знал, были записаны только быстрые фокстроты да твист, так что мне пришлось присоединиться к мужской компании. Мужская компания собралась в углу комнаты возле низкого журнального столика и состояла из Вадика и Сереги. Потом подошел еще один Лилькин знакомый — у него было странное имя Светозар, я даже не решался произнести это имя вслух, а как оно звучит сокращенно, никак не мог догадаться.

— Ну что, ребятишки, — сказал он, — перебросимся в кинга?

— Я не умею, — сказал я.

— Чепуха, научишься.

Вадик закурил сигарету, и мы сели играть.

Раньше я никогда не играл в карты на деньги, почему-то мне представлялось, что стоит только сыграть раз, и потом все — пиши пропало, затянет. Но сейчас — странное дело — я не испытывал никакого волнения, никакого азарта — одно любопытство.

В полуосвещенной комнате гремела магнитофонная музыка, мелькали раскрасневшиеся, разгоряченные лица Эрика, Юрки, Лильки, ее подруг, музыка становилась все громче, все требовательнее. Подчиняя себе, она заставляла невольно выстукивать ритм, шевелить плечами, приподниматься со стула.

— Во дает! Во дает! — говорил Серега.

Кажется, я давно уже не смеялся так много, как в тот вечер. Я смеялся, когда Светозар говорил: «А мы сейчас тузиком! А мы сейчас тузиком!», и когда Вадик, сдавая карты, рассказывал очередной анекдот, и когда танцующий Эрик подмигивал мне сразу обоими глазами. Наверно, мне было достаточно показать палец, чтобы я начал хохотать как сумасшедший.

Я совсем потерял ощущение времени, я просто как-то забыл о его существовании и вдруг спохватился, что уже поздно. что уже пора, я всегда возвращался домой намного раньше. Но ведь никто еще не собирался уходить! И веселье было в самом разгаре! Не мог же я один встать и уйти... И почему я должен был уходить раньше других, почему?

За картами я следил не особенно внимательно, и поэтому очень удивился, когда оказалось, что выиграл двадцать копеек.

— Новичкам всегда везет, — мрачно сказал Вадик.

Я скромно промолчал. Я был уверен, что дело вовсе не в везении.

Шел уже второй час ночи, когда мы начали прощаться.

Лилька проводила нас до самой лестницы и все повторяла, улыбаясь:

— Мальчики, заходите еще, обязательно заходите, — словно мы и не жили в одном доме, словно и не встречались каждый день.

По лестнице я спускался рядом с Юрием, он нес под мышкой какую-то старую потрепанную книгу.

— Интересная? — спросил я.

— Да нет, муть, — сказал он, — это я Лильке давал почитать. А ты вот домой ко мне заходи, у меня такие книжечки есть — закачаешься! Ни в одной библиотеке не достанешь...

— Ладно, — сказал я как можно безразличнее, радуясь, что он пригласил именно меня, меня одного, и тут же злясь на себя за эту радость, — зайду как-нибудь... Ну, пока...

— Пока.

Я не спеша пересек двор, вошел в нашу парадную... И тут вдруг меня охватило такое беспокойство, такой страх за отца... Я побежал наверх, перепрыгивая через ступеньки, на бегу нащупывая в кармане ключи.

Я торопливо распахнул дверь, пробежал по коридору. В кабинете отца горел свет.

Отец сидел за письменным столом и читал. Конечно, он слышал мои шаги, но не обернулся.

— Папа, это я, — сказал я виноватым голосом. — Как ты себя чувствуешь?

— Хорошо, — сказал он.

Я знал: даже если ему плохо, даже если он болен, теперь он ни за что не признается в этом.

Я видел, что он недоволен, что он рассержен. Когда он сердится, он может молчать хоть целый день, слова из него не вытянешь, только «да», «нет», «хорошо», «ладно». Может быть, права все-таки моя тетка, когда говорит, что у отца ужасно грудной характер.

Я постоял еще немного, но отец по-прежнему читал журнал — он словно забыл обо мне, меня словно не существовало.

«Ну и пусть, — подумал я. — Ну и пусть. В конце концов, что я такого сделал?»

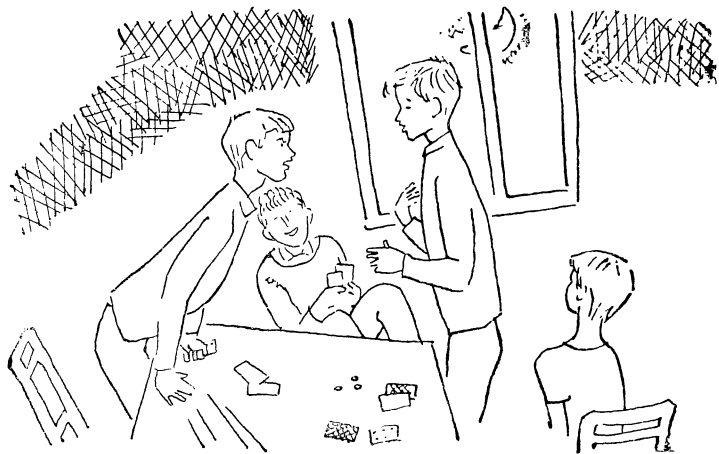


Зима долго не начиналась в этом году. Все время шел мокрый снег или дождь, каждый день непогода загоняла нас в подъезд или в квартиру Эрика. Ко мне ребята почему-то не хотели идти — наверно, побаивались моего отца.

Мы томились от скуки, ждали, хоть бы поскорее лег снег, тогда бы можно было махнуть за город на лыжах. Однажды заглянул к нам во двор Алик, по своему обыкновению рассказал что-то восторженное о своей новой школе, о каких-то кружках, о клубе «Алые паруса»... Мы его слушали без особого интереса — во-первых, мы прекрасно знали его способность вечно преувеличивать и восторгаться, а во-вторых, какое нам было теперь дело до его школы, нас-то она не касалась ни с какого боку.

Как-то Вадик вытащил из кармана колоду карт, развернул ее веером, потом, точно фокусник, одним щелчком снова превратил веер в ровненькую колоду.

— Ну, с кем сыграем? Ну, с кем? — посмеиваясь, спрашивал он. — Ставлю полтинник. Ну, с кем?



Мы тоже посмеивались, глядя на него, еще не зная, обратить его предложение в шутку или принять всерьез.

— Ну, с кем? С кем?

Мы посматривали друг на друга, нам было скучно, каждый из нас жаждал развлечения, но никто не хотел начинать первым, каждый предпочитал выступать в роли зрителя.

— Давай! — неожиданно сказал я. Мне вдруг захотелось показать Лильке, какой я отчаянный, какой я везучий человек! Выиграл же я тогда двадцать копеек!

Вадик протянул мне колоду. Я вытащил две карты.

— Еще?

— Еще... У меня восемнадцать...

— Двадцать... Полтинник! Гони полтинник! — дурашливо закричал Вадик.

— Нет, давай еще.

Вовсе не азартное желание отыгаться владело мной, когда я снова потянулся к картам. Просто мне очень не хотелось вот так, ни за что ни про что отдавать свой полтинник, — целых два билета в кино! Да и выглядеть несчастным неудачником в Лилькиных глазах тоже было не особенно приятно. Хотя я и старался сделать вид, что проигрыш мне совершенно безразличен, наверно, она все-таки заметила, как огорченно вытянулось мое лицо.

Мы сыграли еще, и я проиграл снова.

— Ну, полный провал! Полный провал! — покатылся со смеху Вадик.

И я тоже старался улыбнуться.

Ребята сгрудились вокруг нас.

— Ну вот, еще только карт здесь не хватало, — проворчала **какая-то** женщина, спускаясь по лестнице. — Вот скажу дворнику, он вас живо метлой погонит!

— Зачем дворнику? — тут же отозвался Эрик. — Метла, тетя, вам и самой будет очень к лицу!

Мы сыграли еще раз, я выиграл, потом проиграл снова, потом опять выиграл — короче говоря, кончилось тем, что мой полтинник все-таки перекочевал в карман Вадика.

«Ладно, — утешал я себя, — ничего страшного. По крайней мере, развлеклись ребята...»

Я думал, что на этом все и кончится — не собирался же я серьезно играть в карты, в конце концов, это была только шутка, забава, от нечего делать.

Но на другой день я неожиданно для себя почувствовал, что мне опять хочется испытать это нетерпеливое азартное ожидание: повезет или нет? И когда Эрик небрежно предложил пойти к нему и сыграть в какую-нибудь интеллектуальную игру, ну, например, в картишки, я согласился.

Так началось мое новое увлечение. Отцу, конечно, я ничего о нем не рассказывал. Если он спрашивал меня: «Чем это вы, интересно, занимаетесь там, у Эрика», я отвечал по-прежнему:

— Как чем? Ну, разговариваем... Уроки готовим...

Если говорить откровенно, я еще не привык с легкой совестью обманывать отца, каждый раз я себя чувствовал очень скверно и торопился перевести разговор на что-нибудь другое. Но что было делать? Будь у меня такой отец, как, например, у Сереги, мне бы, наверно, не приходилось врать: однажды он рассказал нам, что, когда учился в Академии художеств, бывало, целые дни играл в карты, даже на лекции не ходил...

Я слышал и читал немало разных страшных историй о том, как затягивают карты, о картежных долгах и тому подобное. Но долги мне не грозили, потому что ставки у нас были маленькие, при всем желании я мог проиграть за вечер копеек двадцать—тридцать, не больше. Но не всегда же я проигрывал! Это во-первых. А во-вторых, я был совершенно уверен, что стоит только установиться нормальной зимней погоде, когда начнутся коньки, лыжи, и все наше увлечение картами моментально кончится...

Как-то домой к нам заходила Галина Аркадьевна. От нее я узнал, что сейчас подходит к концу последняя контрольная серия опытов — после них уже не останется никаких сомнений — прав был Колесов или нет. Так что отец опять возвращался из института поздно — я чувствовал полную свободу.

... В этот день с утра слегка подморозило, а к вечеру пошел снег. Он запорошил асфальт и не таял.

Я бежал через двор к Эрику, оставляя за собой черные следы, позвякивал в кармане мелочью и напевал:

Если радость на всех одна,
То и беда одна...

Постояла бы такая погода еще пару деньков, и, гля-

дишь, в воскресенье откроют каток. А там, пожалуй, и за город можно будет махнуть всей компанией на лыжах.

Если радость на всех одна,
То и беда одна...

У Эрика все уже были в сборе — сам Эрик, Вадик и молчаливый Витёк, ждали одного меня.

Вадик уже тасовал колоду, вчера он проиграл, и теперь ему не терпелось поскорее сесть за карты. Он начал сдавать по кругу по одной, и Эрик сразу же хватал и заглядывал в каждую карту, как только она ложилась перед ним, Витёк же герпеливо выжидал, пока собирались все его карты, затем не спеша поднимал их, и на его лице возникала загадочная улыбка. Сначала эта улыбка очень беспокоила меня, мне все время казалось, что у Витька полные руки козырей, но потом я понял, что он улыбается всегда одинаково, независимо от того, какие карты придут к нему. Вадик что-то бубнил себе под нос — ему опять не везло.

«Хорошо бы опять собраться всем вместе, — думал я, — чтобы и Серега, и Алик был, и Лилька. И двинуть на лыжах за город. Только обязательно всем вместе. Как раньше. А что, Алик живо примчится, если его позвать. Можно даже по почте послать ему шутивное приглашение, мол, глубокоуважаемый сэр, не соизволите ли вы явиться в 00 часов 00 минут туда-то и туда-то... Алик любит такие штуки».

— Колька, твой ход, что ты зеваешь? — сказал Эрик.

«Надо попросить отца, чтобы он купил мне новый свитер. Хорошо бы такой, как у Эрика. Говорят, сейчас есть в магазинах законные свитера, канадские...»

Ого! Кажется, я опять выиграл. Вот всегда так получается — чем меньше я забочусь о выигрыше, тем больше мне везет.

Я потянулся, стараясь скрыть довольную улыбку.

И вдруг Вадик схватил карту, которую я только что бросил на стол.

— Это что? — каким-то странным незнакомым голосом спросил он.

— Как что? — сказал я. — Черва. Восьмерка черв. И вдруг сообразил, вспомнил, что три хода назад я сыграл так, словно у меня не было ни одной червы — на-

верно, задумался, отвлекся и не заметил эту несчастную восьмерку.

— Ой, ребята, извините,— сказал я. — Ошибся. Переиграем, что ли?

— Ошибся, значит? — проговорил Вадик все тем же незнакомым голосом. — И сколько раз ты так ошибался?

— Вадик!

— А я-то, лопух, думаю, что ему так везет? А он, оказывается, ошибается...

— Да ты что? — удивленно сказал я. — Неужели и правда думаешь?

— Эх, Колька, — не слушая меня, говорил Вадик, — уж от тебя-то я не ожидал.

— Как ты можешь так думать? — крикнул я. — Мы же товарищи!

— Твое счастье, что товарищи. За такие дела морду бьют, понял? Если бы я не был твоим товарищем, я бы тебя так измочалил!

— Да ты что! — повторял я. — Ты что!

Я не верил своим ушам, я просто не мог понять, что происходит, мне казалось, сейчас Вадик расхохочется и все обернется шуткой, розыгрышем.

Вадик встал, словно и правда собирался меня ударить. Его губы кривились в какой-то вымученной нелепой улыбке.

— Ошибочка? Ничего себе ошибочка, хороша ошибочка... — повторял он.

Я тоже встал, и теперь мы стояли друг против друга. Только стол разделял нас.

— Да я... Я никого в жизни никогда не обманывал!

— Так уж никого? — прищурившись, спросил Вадик.

— Ребята, да что вы! Да я... Эрик! Да скажи ты ему!

— Ну, признайся, старик, что смухлевал, — весело сказал Эрик, — чего там...

— Я давно уже заметил! — возбужденно, почти радостно говорил Вадик. — Давно уже заметил!..

Они мне не верили! Как они могли мне не верить!

Я чувствовал, что еще немного и я не выдержу — закричу или разревусь от обиды, от бессилия, от невозможности доказать свою правоту.

— Ребята, честное слово...

— Знаем мы таких честных, — сказал Вадик. — На чужие деньги.

И тут я выхватил из кармана всю мелочь, какая у меня была, и швырнул на стол.

— На!

Монеты рассыпались по столу, со звоном покатались по полу. Вадик рванулся ко мне, но Эрик схватил его за руки. Он что-то кричал мне вслед, но я не слышал, я был уже в коридоре.

Разгоряченный, ошеломленный, униженный, я пришел домой, лег на диван и так лежал весь вечер, пока не вернулся с работы отец.

— Ты что? Заболел?

— Да нет, немного голова побаливает, — сказал я.

— Температуру мерил?

— Мерил. Нормальная.

После всего, что произошло сегодня в квартире у Эрика, меня даже самого удивило, как я мог говорить таким естественным, таким безразличным голосом.



И вот я сижу дома один, и у меня сколько угодно времени для размышлений...

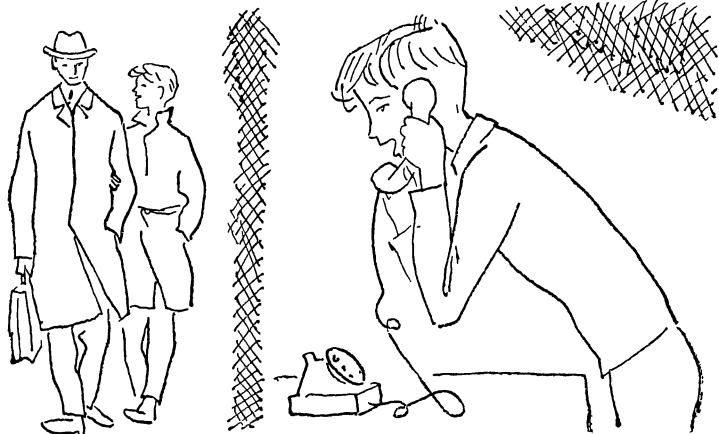
Почему мне так скверно? Почему я чувствую себя так, словно совершил предательство?

В конце концов я не сделал ничего ужасного — сколько я ни думаю, сколько ни перебираю в памяти свои поступки, вспоминаются только какие-то мелкие, незначительные события. И в истории с картами я прав, совесть моя чиста. Вадику я, конечно, этого никогда не прощу, с Вадиком мы теперь чужие люди — «здрате — до свидания» и все, это уже решено точно.

Я успокаиваю себя, уговариваю, но на душе по-прежнему скверно, так скверно, что, кажется, хуже и не бывает. И я знаю, почему. Только стараюсь не думать об этом.

И все-таки думаю...

Я вспоминаю, как разглагольствовал перед Лилькиными гостями о своем отце, я словно слышу опять свой небрежно звучащий голос, всю эту самодовольную трепотню, и меня даже передергивает от отвращения к самому себе,



Я вспоминаю, как я смеялся вместе со всеми, когда мне вовсе не хотелось смеяться, как я молчал, когда мне хотелось спорить, как я соглашался, когда должен был возразить.

Мне так нравилась независимость Эрика и взрослость Вадика, что я даже не решался спорить с ними, я боялся: а вдруг из-за этого нарушится наша дружба...

Как я раньше не понимал этого?

Нет, в глубине души я чувствовал это, я всегда чувствовал, только не хотел признаваться даже самому себе.

Товарищи... Дружба...

Как я мчался, как я торопился каждый вечер во двор, как я спрашивал Алика: «Наши собрались?» Было же, значит, что-то и хорошее, а теперь никогда уже не будет, жалко...

Утром я встретил во дворе Лильку. Она спросила меня: «Что это вы вчера не поделили с Вадиком?» — и засмеялась. Значит, и для нее вчерашнее происшествие — это только обычная ссора, недоразумение и ничего больше.

Я снова вижу перед собой вымученную незнакомую улыбку Вадика, слышу, как повторяет он в радостном и ожесточенном возбуждении: «Ошибочка, ничего себе ошибочка, хороша ошибочка...» Что ж, каждый меряет на свой аршин, ничего удивительного... Но я-то, я-то дурак еще оправдывался перед ним, еще объяснял, еще давал слово!..

По привычке я подхожу к окну и смотрю во двор.

У шестой парадной никого нет, пусто...

Я стою у окна и жду, когда появится в воротах высокая фигура отца. Уже давно пора бы... А может быть, опять случилось что-нибудь в институте?

Отца все нет и нет.

Сегодня в школе на перемене ко мне подошел молчаливый Витёк и, отводя глаза, точно смущаясь, сказал:

— Слушай, ты бы спросил своего отца, — говорят, новое средство против рака изобрели, может, он знает...

Я знал, что такого средства нет и что отец ничем не сможет помочь, но все-таки кивнул, мол, спрошу. Я вдруг вспомнил, как в тот раз, когда притащил во двор старый журнал с анкетой, Витёк сказал: «Самое страшное — это когда человек болен и знает, что умрет». И никому из нас и в голову не пришло: а может быть, в семье у

Витька́ и правда кто-то болен. Нас никогда не интересовало, что делается у него дома, — молчит парень и молчит... До чего же все-таки мы были безразличны друг к другу...

На улице снова потеплело, и асфальт во дворе опять стал черным. Посреди двора, возле детской площадки, за дощатым столом доминошники в пальто с поднятыми воротниками забивают козла. Торопливой подпрыгивающей походкой проходит через двор отец Сереги.

— Зи-и-ина! Домой! Зи-и-на! Кому я сказала! — кричит через форточку какая-то женщина...

А моего отца все нет и нет.

Для человека, когда он чувствует себя виноватым, когда ему не по себе, я не представляю наказания хуже, чем необходимость ждать. Если бы я мог исправить все вот сейчас, сию же минуту, если бы я мог доказать, я бы не знаю, что сделал ради этого!

Я ведь знаю, я чувствую, что нам еще придется столкнуться с Вадиком, наверняка придется... И уж тогда я не промолчу, я не стану посмеиваться и подлаживаться под него, я скажу все — и еще посмотрим, на чьей стороне будут ребята! Еще посмотрим!

Только бы поскорее наступил этот момент, только бы поскорее... Я чувствую себя сейчас словно боксер, который уже приготовился выйти на ринг, а его все не вызывают и не вызывают. Кажется, еще никогда в жизни я так не торопил время...

Когда в тишине квартиры раздался звонок, я даже не сразу сообразил, что это телефон, и сначала кинулся к двери. Потом торопливо схватил телефонную трубку:

— Алло! Алло! Я слушаю!

В трубке что-то шумело и потрескивало, слышалась какая-то отдаленная музыка, и сквозь этот шум пробивался голос отца:

— Коля, ты? Хорошо, что ты дома. У меня к тебе просьба. Ты меня слышишь?

— Слышу, папа, слышу!

— На моем столе справа должна лежать толстая зеленая тетрадь. Возьми ее и, пожалуйста, срочно привези сюда, в институт. Справа на столе. Понял?

— Понял! — закричал я в трубку. — Все понял!

В институте было тихо и пустынно, как в школе вечером, после занятий. Я даже не решился, побоялся нарушить эту тишину и осторожно, почти на цыпочках, прошел мимо вахтерши, поднялся по лестнице.

На пятом этаже, где работал отец, тоже было безлюдно и тихо — темные узкие коридоры, наглухо закрытые двери лабораторий. Только изредка в тишине что-то журчало и щелкало — таинственно и жутко, словно огромное, погруженное в темноту здание продолжало жить своей собственной жизнью, независимой от людей.

— Папа, что это? — спросил я.

— А-а... Щелкает? Это включаются холодильные установки. А журчит вода в аквариуме.

Отец, в белом халате похожий на врача, сидел перед осциллографом и внимательно смотрел на маленький экран. На экране билась, пульсировала, то сжимаясь, то растягиваясь, зеленая линия...

— Принес? Ну, хорошо. Давай сюда.

Он начал листать тетрадь, отыскивая нужную страницу, а я бродил по лаборатории и рассматривал приборы. На стенке шкафа, на гвоздике, висели белые халаты. Я надел один из них, самый маленький, и сразу стал похож на ученого, ну, если не на ученого, то, по крайней мере, на лаборанта...

— Пап, посмотри, правда, хорошо?

— Хорошо, хорошо... — отозвался отец, не оборачиваясь.

От халата слабо пахло знакомыми духами.

— Пап, — неожиданно спросил я. — А Галина Аркадьевна замужем?

— Нет. А что это тебя вдруг заинтересовало?

— Просто так...

— Ах, просто так... А я уж думал, ты посвататься хочешь.

И я сразу вспомнил: «Вы всегда шутите, — сказала Галина Аркадьевна, — почему вы всегда шутите?!»

— Пап, а ты можешь сделать какое-нибудь открытие?

— Если ты мне не будешь мешать, то смогу...

— Нет, правда, у вас в институте кто-нибудь уже делал открытия?

Наверно, я действительно мешал ему своими вопросами, он отвечал, по-прежнему не оборачиваясь, продол-

жая что-то выписывать и подчеркивать в своей тетради, но я никак не мог остановиться. У меня сейчас было такое состояние, какое бывает только во время болезни, когда после нескольких дней жара и головной боли в одно прекрасное утро вдруг вынимаешь градусник и видишь, что температура спала, и чувствуешь во всем теле легкость, и сразу вдруг хочется говорить, говорить, говорить...

— Папа, — спросил я. — А как с теми опытами?

Почему-то я сейчас был уверен, что все должно было кончиться хорошо, во всяком случае, мне очень хотелось, чтобы все кончилось хорошо, я просто не верил, что может быть иначе.

— С опытами? — переспросил отец и обернулся. И по его лицу я сразу понял, что ничего не изменилось, что все — по-прежнему.

— Плохо, — сказал он. — Теория Колесова не подтвердилась.

— Ну и что же теперь?

— Начнем все заново. Сейчас многое стало яснее.

— А как... — я запнулся, я не мог подобрать подходящих слов, чтобы задать свой вопрос. Но отец понял меня.

— В субботу я делаю доклад о нашей работе, — сказал он.

— И все узнают?

— И все узнают. Понимаешь, что бы там ни было, а мы должны это сделать. Сам бы Колесов поступил точно так же. Знаешь, он всегда говорил нам: «Я не понимаю, что значит быть честным наполовину. Или как это можно быть немножко нечестным. Можно быть или честным, или нечестным. Или—или». А теперь помолчи, пожалуйста, полчаса, дай мне закончить работу, хорошо?

Я терпеливо молчал целых полчаса и все думал об этих словах Колесова. И еще я смотрел на отца. На его чуть сутуловатую спину, на затылок с уже седеющими волосами, на широкие кисти рук с синими жилками...

«Он же у меня один, — думал я. — И я у него один. Как же я могу не любить его?»

И снова мысли мои все возвращались к одному и тому же. Я думал, как могло это случиться: я всегда мечтал быть таким, как мой отец, таким, как профессор

Колесов, а сам тянулся к Эрику, завидовал легкости Серегиных отношений с отцом, даже Вадику и то завидовал...

С ребятами мне было легко, всегда легко, потому что они от меня ничего не требовали, а отец требовал, и с ним мне бывало трудно — может быть, в этом все дело, может быть, в этом...

Отец выключил приборы, снял халат и сразу стал привычным, домашним.

Наши шаги гулко разносились по темному коридору, по широкой лестнице.

— Сынок ваш? — спросила вахтерша, кивнув в мою сторону. — Я сразу догадалась. Уж очень он похож на вас, прямо вылитый...

— Да неужели? — улыбнулся отец.

Я знал, что совсем не похож на него, просто почему-то полагается так говорить родителям, чтобы удовольствие им доставить, что ли... Но сейчас мне было очень приятно услышать эти слова — может быть, другим виднее, может быть, это только мне кажется, что я во-все не похож на отца...



ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая. Еще бы мне не запомнить эту фамилию! . . .	3
Глава вторая. Лилька, Вадик и я	12
Глава третья. В театре	17
Глава четвертая. Профессор Колесов	25
Глава пятая. Тимофеев	32
Глава шестая. Мечта моего детства	40
Глава седьмая. Прощай, Алик	45
Глава восьмая. Отец	51
Глава девятая. Что я такого сделал?	60
Глава десятая. Мы же товарищи!	68
Глава одиннадцатая. Телефонный звонок	74

ДЛЯ СРЕДНЕГО И СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Никольский Борис Николаевич
ДЕТИ ДО ШЕСТНАДЦАТИ

Ответственный редактор Г. В. Антонова. Консультант по художественному оформлению Ю. Н. Киселев. Технический редактор Н. М. Сусленникова. Корректоры К. Д. Немковская и Т. Н. Сморкалова.

Подписано к набору 28/III 1967 г. Подписано к печати 22/IX 1967 г. Формат 84×108 1/32. Бум. № 2. Печ. л. 2,5. Усл. печ. л. 4,2. Уч.-изд. л. 3,92. Тираж 100 000 экз. ТП 1967 № 322. М-16422.

Ленинградское отделение издательства «Детская литература». Ленинград, Д-187, наб. Кутузова, 6. Заказ 725. ~~Цена 20 коп.~~

Таллин. Типография «Пунане Тяхт». ул. Пикк, 54/58. Заказ № 1901.

Цена 12 коп.

ИЗДАТЕЛЬСТВО.

«ДЕТСКАЯ
ЛИТЕРАТУРА»